# *Кристофер Белшоу. «10 хороших вопросов о жизни и смерти»*

*Перевод с английского*

*Глава 1*

## Где мне найти ответы?

*Перед самой смертью она спросила: «В чем ответ?» Ответа не последовало. Она рассмеялась и сказала: «Тогда в чем вопрос?» И умерла.*

(Последние слова Гертруды Стайн)

Посреди пустоты двое мужчин, похожих на бродяг, ждут, чтобы что-то произошло. Им нужно найти смысл в своей жизни. Это нелегко. Один подумывает о самоубийстве, но потом передумывает. Другой подводит итог их уделу: мучительное рождение, мучительная смерть и почти ничего стоящего между ними. Они как будто ждут кого-то. Если он придёт — если он вообще существует, — он, может быть, расставит всё по местам, придаст их жизни какую-то форму. И действительно приходит другой человек, с мальчиком. Они остаются ненадолго, потом уходят. Позже возвращаются и снова уходят. Но это был не тот, кого ждали. А кроме этого, ничего не происходит.

Герои «В ожидании Годо» обнаруживают знакомые тревоги. Что важно? Как нам прожить жизнь? На что надеяться? Могут ли помочь Бог и религия? Плохо ли, что всё кончится? Многие из нас

разделяют эти тревоги и — пусть не постоянно — задают себе такие вопросы. Именно такие вопросы задаются и в этой книге. Они могут показаться простыми. И всё же ответить на них совсем не легко. Персонажи Беккета ничего с ними не добиваются — как, по большей части, и мы. Почему так? Полезно будет подумать подробнее о том, какого рода вопросы здесь задаются, понять, что делает их трудными, и посмотреть, что — если вообще что-то — их объединяет.

У них общая тема. Все они, и это очевидно, — вопросы о жизни и смерти. И у Беккета в его пьесах, и у меня в следующих главах речь идёт о человеческой жизни и человеческой смерти. Они касаются основ нашего существования, отпущенного нам срока и того, что, если вообще что-то, лежит за его пределами. Неудивительно поэтому, что это вопросы, которые волнуют всех нас.

Кроме того, их объединяет подход к этой теме. Все это — философские вопросы. Это тоже может быть очевидно — то ли по тому, где вы нашли эту книгу, то ли по беглому её просмотру, то ли по обложке. И всё же может быть не очевидно, что такое философия. Как она связана с этими на вид простыми вопросами? И какие ответы, если вообще какие-то, она может надеяться дать?

## Философия

Начнём с того, чем она не является. Философия — не наука. Она не задаёт множества трудных фактических вопросов, для ответа на которые нужны лаборатории, большие гранты, исследовательские коллективы. И поскольку она не задаёт таких вопросов, не зависит в этом смысле от фактов и не гоняется за ними, философия не похожа на классическую филологию, африканистику, право и множество других предметов. Подобно науке, они тоже требуют массы сведений о реальном мире, рытья в библиотеках и архивах, постановки экспериментов, опросов и анкет. Конечно, существует и много научных и полунаучных

вопросов о жизни и смерти. Не одна только тема делает наше занятие философским. Можно спросить, например: как развивается живое существо? Сколько людей умерло во время чумы 1665 года? Как смотрит буддизм на святость жизни? И что американцы думают о рае? Эти вопросы, все фактические, по своей природе отличаются от тех, что задаются здесь.

Есть и ещё кое-что, чем философия не является. Она не узка, не однородна, её нелегко втиснуть в рамки. Её репутация лучше, чем прежде, но многие всё ещё считают её чем-то заумным и выспренним — занятием, посвящённым вопросам, которые почти или вовсе не касаются повседневной жизни: что такое истина? Не снится ли нам всё это? Как возможна математика? Конечно, большие разделы философии именно таковы, и всякий, кто заглянет на полку университетского книжного магазина или в оглавление большинства научных журналов, найдёт там много непонятного, специального и замкнутого на себе. Немалая часть философии действительно занята вопросами метафизики, коренной природы реальности, а ещё больше — эпистемологией, тем, что мы можем знать о вещах, коренных или нет. И всё же немалая её часть более прямо связана с нашей жизнью и обращается к важным и знакомым повседневным проблемам. Так, вопросы о том, допустимы ли аборт, война или смертная казнь, должны ли мы помогать жертвам голода и засухи, важны ли окружающая среда или искусство помимо их пользы для нас, есть ли права у животных, — всё это появляется во всё большем числе философских книг и курсов. Есть удивительно долговечная радиопередача «Моральный лабиринт», которая берёт какую-нибудь дилемму недели и подвергает своих жертв шквалу вопросов о том, какой позиции они держатся. Есть газетные колонки, побочные линии в романах и фильмах, темы в разных школьных экзаменах. И такие вопросы обсуждаются в кафе и барах повсюду.

Итак, у философии есть теоретическая и практическая стороны, история и настоящее, учёные и практики. Неудивительно, что она

столь широка. Как велико разнообразие в науке, литературе и искусстве, так и в философии.

И она не узка, не однородна ещё в одном смысле. Даже соглашаясь, что она не наука, люди тем не менее расходятся в том, как к ней лучше подступиться. Поищите философию в книжном магазине или в интернете, и вы найдёте, наряду с трудами Платона, Канта и Витгенштейна, материалы о мистицизме, восточных религиях, кристаллах и образе жизни. Одни думают, что философия предполагает трансы, мантры, наркотики и прочие способы достичь высшей реальности, состояния, в котором всё едино. Другие, напротив, видят в ней одержимость разумом, логикой и анализом, придирки к значению слов, требование всегда сначала определять термины. Оба подхода находятся на крайних полюсах или близко к ним. И всё же их связывает — как и связывает с серединой — мысль, что философия тесно связана с пониманием трудных предметов, а может быть, и с пользой от этого понимания. Можно спорить о том, как этого понимания достичь, но именно оно — или мудрость, ясность, просветление — было и остаётся сердцевиной философии.

## Об этой книге

Хотя философия — предмет большой, со многими частями, её масштаб в этой книге не отражён. И хотя к ней можно подходить по-разному, здесь этого разнообразия немного. Здесь всего один круг вопросов — некоторые основные вопросы о жизни и смерти. И всего один подход к ответам на них — разум и аргументация. Но скажу об обоих пунктах подробнее.

Во-первых, охват. Выше я упомянул некоторые из наиболее знакомых философских вопросов. Но помимо них — об аборте, наказании, правах и т. д. — есть другие, более коренные: о том, что для нас важно, что обладает ценностью. Именно на ответах на эти вопросы и на убеждениях о них основаны многие наши суждения о нравственности. И всё же, хотя нравственные вопросы часто

открыто обсуждаются, эти лежащие в основе убеждения обычно принимаются как само собой разумеющееся. Всего два примера. Мы можем долго спорить о том, допустима ли смертная казнь. Но обычно всё время предполагается, что жить — хорошо, а умереть — плохо. Во многом именно из-за этих убеждений лишение человека жизни кажется таким серьёзным делом. Или мы задаёмся вопросом, как Бог, если Он есть, может оправдать порядок, при котором одни из нас терпят вечное проклятие, а другие вечно наслаждаются раем. И часто предполагается, что, существует рай на самом деле или нет, он был бы, конечно, благом. Поверьте в это — и попасть туда становится важно. Так что в обоих случаях вопросы о нравственности — о том, что мы должны делать друг другу или что Бог должен делать с нами, — покоятся на лежащих в основе убеждениях: в первом случае о ценности жизни, во втором — о ценности рая. И в обоих случаях нравственный спор вполне может принять иной оборот, как только мы начнём исследовать эти исходные допущения о ценностях.

Многие вопросы этой книги касаются таких вопросов ценности. Те, что не касаются, тесно с ними связаны. Поэтому вместо того чтобы повторять сравнительно знакомые вопросы о нравственности — а книг, которые делают именно это, множество, — я рассматриваю здесь то, что лежит под ними. И если вопросы нравственности важны, то эти основополагающие вопросы ещё важнее. Я хочу, следовательно, сосредоточиться лишь на немногих проблемах, которые касаются всех нас и которые так или иначе, признаём мы это или нет, помогают определять почти всё, что мы делаем. Вопросы здесь приходят с разных сторон — из религии, медицины, теории народонаселения, головоломок о тождестве личности, — но все они указывают на пару тесно связанных тем: благая жизнь и благая жизнь для меня. Связаны они, очевидно, тесно, но всё же различны. Ибо я хочу знать не только то, что делает жизнь достойной того, чтобы её прожить, что придаёт ей смысл и значимость, — я хочу знать также, должна ли такая достойная

жизнь меня заботить, будет ли это действительно жизнь, на которую я могу надеяться.

Во-вторых, подход. Не стоит составлять себе ложного представления о его чистоте. Я не хочу поддерживать карикатуру на философа как на некую вычислительную машину в башне из слоновой кости, яйцеголовую, — твидовую версию мистера Спока. Упор делается на разум, но не в ущерб всему остальному. И хотя здесь постоянно стремятся к ясности, соответствующего стремления усыпать всё определениями, расставить все точки над «i» нет. Ибо если вопрос не слишком специален, то, думаю, и подход к ответу не должен быть таким. А в вопросах о жизни, смерти и смысле попытки чрезмерной точности могут лишь ввести в заблуждение. Здесь есть связанный момент. Раз вопросы таковы, то для ответов нужны факты о нашей жизни, наши взгляды и убеждения о ней. Это ещё одна причина, по которой философ из башни из слоновой кости не может прийти к верным выводам. Почему? Потому что, чтобы ответить на эти вопросы, нужно какое-то понимание человеческой природы, какое-то представление о том, что нами движет. Один способ приобрести такое понимание — думать о собственной жизни и о жизни знакомых. Другой — узнать кое-что о том, чем люди жили в прошлом и в других местах, обратившись к истории, к биографиям или к романам, пьесам, стихам и фильмам. Не думайте, что я отступаюсь от сказанного ранее. Я не говорю, что нам нужно копаться и собирать множество фактов. Здесь часто нужно не более чем довольно общее знание, общее понимание. А такое знание можно подхватить или позаимствовать в другом месте, причём философ полагается на других в том, что они дадут нужные сведения, вместо того чтобы исследовать всё заново.

Могу сказать об этой книге и ещё кое-что. Я задаю вопросы. Я занимаюсь философией. А затем предлагаю ответы. Но найдутся люди, которые с подозрением отнесутся ко всей этой процедуре. На фактические вопросы есть ответы. На другие — нет. Это одно

подозрение. Всё это звучит назидательно и догматично. Это другое. Обоснованы ли эти подозрения? Неудивительно, но я так не думаю.

## Показательный пример

Он проводит большую часть времени на рыночной площади в Афинах, стараясь вовлечь людей в разговор. Не кого попало — важных особ, полководцев, политиков, аристократов, так называемых философов и молодых людей, считающих себя важными особами будущего. И не в какой попало разговор: Сократа занимают, во многом как и меня здесь, во-первых, вопросы ценности — что делает жизнь достойной, — а во-вторых, вопросы об этих вопросах: каковы они? почему они трудны? где ответы? Его обычная тактика — изображать невежество, заставать собеседников врасплох, льстить им, а потом подводить к тому, что они выставляют себя дураками. Они его за это ненавидят. И в конце концов это стоит ему жизни.

Зачем же, однако, вести эти разговоры? Зачем весь этот шум? Сократ противостоит двум взглядам и хочет показать, что они ошибочны. Во-первых, это взгляд, будто эти люди лишь в силу своего положения обладают каким-то особым авторитетом в таких делах. Одно дело — думать, что полководец может успешно командовать армией в поле или что юрист может добиться оправдания клиента, обвиняемого в растрате, и совсем другое — полагать, что у кого-то из них есть особый вес в более широких вопросах нравственности и ценности. Во-вторых, есть взгляд, по видимости противоположный первому, — что в таких делах вовсе нет знатоков, нет авторитетов и что мнение каждого не хуже мнения соседа. Если так думать, то, вероятно, будешь думать и что всякий раз, когда возникают подобные споры, лучший и справедливейший способ их разрешить — просто поставить вопрос на голосование. Может показаться, что пройти между этими позициями — отвергнув и традиционный авторитет, с одной стороны, и всеобщую уравниловку, с другой, — по-настоящему трудно, но Сократу это

удаётся. Он настаивает, что как нужны знатоки, скажем, в гончарном деле, объездке лошадей или игре на флейте, так нужны они и там, где речь идёт о благой жизни. Важно, чтобы в доме были хорошо сделанные горшки, и потому важно, прежде чем покупать, найти проверенного мастера. Ещё важнее хорошо прожить свою жизнь, и потому ещё важнее получить лучший совет о том, как это сделать, — не глотая пустую болтовню, но и не плутая в одиночку.

Но что же тогда плохого в полководцах, юристах и политиках? Почему нельзя учиться у них? Дело просто в том, что, как только они оказываются за пределами своей области, они редко понимают, о чём говорят. И здесь важно, что Сократ, как и многие из нас сегодня, живёт в своего рода демократии — обществе, где всегда можно, хотя бы в принципе, бросить вызов авторитету, потребовать от него объяснений. Тогда, как и теперь, люди не склонны оказывать кому-либо безоговорочное и безусловное почтение или сидеть, послушно и безропотно, у ног гуру или учителя. А Сократ особенно хорош в таком вызове: он умеет сбить спесь с самозваных знатоков и доказать — обычно перед толпой потешающихся зрителей, — что их так называемое знание есть не более чем обман. Но в более открытом обществе, поощряющем якобы здоровый спор, всегда есть опасность: сбросив людей с пьедесталов, легко просто уйти, оставив после себя развалины. И многие современники считали Сократа силой чисто разрушительной, распускающей ещё непрочную ткань их общества без мысли о завтрашнем дне. Они его не поняли. Сократу были дороги Афины, их граждане и их довольно хрупкое и неустойчивое положение. Он хотел помочь исправить дело, убедить людей хорошенько подумать о самых основных стоящих перед ними вопросах и найти подлинных знатоков в искусстве хорошо жить. Это было нелегко. Где искать? Прямого ответа на этот вопрос он не даёт и себя источником всей мудрости не выставляет. Но он настаивает на проверке знания. И эта проверка — разум. Если чьи-то утверждения не выдерживают проверки разумом, если они не согласуются друг с другом и с прочим, что человек, по его словам, знает, если они противоречат тому, что не

вызывает никаких разумных сомнений, — то такие утверждения едва ли можно принять. Слепого авторитета нет. Но авторитет тем не менее есть — он исходит из разума, из осмысленности, из способности выдержать критику и жёсткие вопросы. Найдите знатоков. Выслушайте, что они говорят. Но затем их ответы в конце концов устоят или падут сами по себе.

## Знатоки и знание

В этом отношении мало что изменилось. И те подозрения живы и сегодня. Мы думаем либо что на эти вопросы по-настоящему ответить нельзя и всё, что мы можем, — это отмечать разные ответы на них, причём мнение одного человека весит столько же, сколько мнение другого. Либо, если ответы есть, их, должно быть, трудно дать: они зависят от специальных знаний и подготовки, а повседневные убеждения и повседневные возражения почти или вовсе ничего не значат. Итак, либо всё дозволено, либо есть авторитеты, и это всё-таки своего рода наука.

Но между двух стульев здесь провалилась мысль о срединной позиции — мысль, что подлинное продвижение возможно, что взгляды бывают действительно лучше и хуже и что тем не менее все мы способны вносить вклад в это продвижение и помогать различать эти взгляды. Возьмём всего один вопрос: следует ли разрешить эвтаназию? Нам не нужно думать, что задавать этот вопрос нет смысла и что одно мнение ничем не хуже другого. Не нужно и полагать, будто врачи или юристы непременно знают здесь, как лучше. Мы можем вести разумный спор, взвешивать доводы за и против, всё обдумывать и прийти в конце концов к хорошо обоснованному взгляду. Или другой вопрос: должны ли у мусульман, католиков или иудеев быть свои школы? И здесь есть серьёзные нравственные проблемы, и хотя историки, педагоги, священнослужители внесут большой вклад, ответ не будет выведен просто из одних их мнений. Это дело, которое касается всех нас и важно для всех.

Так есть философское знание или нет? Есть, но довольно своеобразного рода. Возьмём историю, медицину, географию. Большинству из нас и большую часть времени ничего не остаётся, кроме как принимать сказанное там на веру, доверять специалистам, полагаться на их слово. Фактов попросту слишком много. И в таких областях есть довольно обычное и привычное понятие знатока — его знание основано на сведениях, накапливается и плохо поддаётся оценке со стороны. Но сравним это, скажем, с гроссмейстером в шахматах. Он знаток в ином смысле: дело не в том, что он знает о шахматах гораздо больше нас, а в том, что, отчасти благодаря врождённому дарованию, отчасти благодаря упорному труду, он просто играет лучше. И всё же можно понять, что он делает, проследить ходы, увидеть, насколько он хорош. Ничего не нужно принимать на веру. Так же с математикой: только сегодня я прочитал в газете о крупном математике, который описывает свою работу не как сбор новых сведений, а как умение взять то сравнительно немногое, что у него есть, и сидеть и думать над этим. И так же, в других областях, с теннисистами, джазовыми пианистами, актёрами. Их талант зависит от мастерства и понимания, а не от знаний. И он прозрачен. Мы можем видеть, что они делают, сами судить, насколько они хороши, и сравнивать их между собой.

То же, более или менее, и с философами. Они соединяют вкус к определённым вопросам — часто отвлечённым, общим, давним — с рядом навыков: ясно излагать, разбирать и строить аргументы, не отпускать сравнительно небольшую мысль. Но огромного запаса знаний, на который философу нужно было бы опираться, нет. А «более или менее» я говорю потому, что философское мастерство не прозрачно в том смысле, в каком прозрачны теннис или шахматы. Печально, но верно: не все мы одинаково разумны. И потому не все одинаково способны оценить достоинства того или иного философского аргумента.

## Кому нужна философия?

Но даже если есть о чём подумать и на какие вопросы ответить, действительно ли ясно, что для этого нам нужна философия? Подумайте о другом — о религии, школе, романах и пьесах, рассказах о великих жизнях, даже о влиянии собственной семьи. Разве мы не находим уже там многое, что касается искусства хорошо жить? Зачем искать дальше?

В этом есть резон, и никто не станет утверждать, что вопросы этой книги принадлежат одной философии. Разве я сам не начал с пересказа известной пьесы? Но одно дело — поднимать вопросы, другое — давать ответы. И часто бывает так, что когда ответы приходят прямо из этих других источников, они менее основательны, менее точны и менее убедительны, чем те, что может дать философия. Это не всегда беда: с детьми часто лучше всего просто сказать им, что правильно, а что нет, что важно, а что неважно, вместо того чтобы рассуждать и всё обговаривать. И в более крупном масштабе Кант думал, что и у обществ бывают периоды, когда наставление лучше спора. Но для нас самим деятельно участвовать в обсуждении этих вопросов — лучше, и для каждого, и для всех вместе, и это признак большей зрелости, чем беспрекословно следовать чужим предписаниям. Даже тогда, быть может, особой нужды в философии нет. Ибо если одни религии предписывают закон и требуют слепой веры, то другие требуют размышления и критики и подчёркивают руководящую силу совести. И если одни романы, одни фильмы увлекают вас, затаившего дыхание, волной чувств, то другие поощряют некоторую отстранённость от героев и сюжета, предлагая вместо этого продумать поднимаемые ими вопросы. В школах и семьях есть похожий контраст, часто связанный с возрастом: пассивное послушание уступает место более деятельному и беспристрастному участию в обсуждаемом.

Но во всех этих случаях, вместо того чтобы считать философию излишней, лучше, пожалуй, предположить, что здесь уже

происходит некая протофилософская деятельность. И это, конечно, верно. Ведь нет философии с одной стороны и остальной культуры с другой. Есть, напротив, непрерывность и различия в акцентах, причём узнаваемо философские подходы и заботы постепенно вырастают из ряда более привычных споров.

Всё это имеет отношение к часто звучащему утверждению, что все мы философы. Верно ли оно? С одной стороны, я предположил, что, может быть, все мы способны заниматься тем или иным философским вопросом, а с другой — допустил, что у одних это получается лучше, чем у других. Так все ли мы философы или лишь счастливое меньшинство?

Что ж, почти каждый в то или иное время задаёт себе определённые философские вопросы: может ли терроризм когда-либо быть оправдан? Есть ли Бог? Не сон ли всё это? Мы задаём эти вопросы детьми, в пьяной сентиментальности, в ответ на события, о которых сообщают в новостях. Конечно, одни задают такие вопросы чаще других, но едва ли найдётся человек, совсем ими не интересующийся. А затем почти каждый неизбежно пытается дать на них ответы. И опять: благодаря ли врождённым способностям, или выучке, или тому и другому, одни тратят на это больше времени и справляются лучше других. И всё же различия, во-первых, между хорошими и плохими философами и, во-вторых, между философами и нефилософами в конечном счёте — различия в степени, а не по существу. Так же с футболом или музыкой. Гордон умеет гонять мяч, бегает вверх-вниз по левому флангу и, играя с сослуживцами, даже забивает иногда гол, но он не Роналдиньо. Футболист ли он? Он говорит, что да, и показывает вам свои финты. Кэрри играет на фортепиано и бас-гитаре, ни на том ни на другом особенно хорошо, но у неё хорошее чувство ритма, и она слышит, когда певец фальшивит. Музыкант ли она? Она это отрицает, указывая на свои скромные способности и на то, что не сдала ни одного экзамена. И всё же в обоих случаях спорить о ярлыках — пустая трата времени. Мы вполне можем знать, насколько хорошо он играет, насколько она полезна в группе, не решая, подходит ли

тот или иной ярлык. Так и здесь можно сказать, что в одном смысле каждый — философ. Но в способностях есть существенные различия. И если кто-то захочет закрепить это слово за теми, у кого получается хорошо, или за профессионалами, — большой беды не будет.

## Ответы

Так где же они? Вероятно, я уже сказал достаточно, чтобы это стало ясно. Ответы, в известном смысле, есть в самой книге. Каждая глава, включая эту, ставит целью рассмотреть вопрос, вынесенный в её заглавие, и ответить на него. Ответы не всегда полны и не всегда могут удовлетворить. Но они настолько полны и удовлетворительны, насколько я могу сделать их таковыми в этих пределах. Я пытался ясно излагать мысли, представляя и то, что считаю верным взглядом по разным темам, — настаивая, например, что смерть часто плоха, что нет веских оснований верить в загробную жизнь, что не обязательно важно, если лучшие люди не родятся, — и одновременно приводя аргументы в пользу этого взгляда и основания считать его верным. Вот о чём эта книга: задавать философские вопросы о жизни и смерти, разбирать эти вопросы на части, двигаться к ответам, давать этим ответам должное обоснование.

Есть и другое. Иногда я указываю, откуда пошла та или иная мысль, или называю тех, кто придерживался какого-то взгляда или возражал против него. Иногда я привожу, а иногда придумываю истории, иллюстрирующие определённую мысль, — чтобы сделать её яснее или показать, как философия непрерывно переходит в повседневные заботы. Но упор везде делается на вопросах и ответах, а большинство таких замечаний, таких ссылок на факты, второстепенны.

Важно заметить, однако, что ответы, данные здесь, в двух смыслах лишены окончательного авторитета. Во-первых, многие философы с ними не согласятся. Люди, которые потратили на

размышления и чтение об этих проблемах по меньшей мере столько же времени, сколько я, которые провели больше курсов, прочитали больше книг и в целом по меньшей мере столь же способны, будут держаться других взглядов и будут убеждены, что противоположные ответы ничуть не хуже предложенных здесь. Вспомните, как уважаемые учёные до сих пор спорят о Большом взрыве или как историки не могут сойтись в причинах Французской революции. Во-вторых, и в отличие от этих примеров, я не хочу давить авторитетом на внимательного читателя. Вы согласитесь с моими ответами, если согласитесь, не потому, что примете их на веру, а потому, что, продумав всё сами, будете убеждены аргументами. Ошибки — даже если вам кажется, что сами вы не справились бы лучше, — будут видны, как нарушение правил в шахматах или перекрученный удар в теннисе. Ибо в важном смысле авторитет ответов на такие вопросы находится внутри каждого из нас, а не где-то вовне. И всё же обычно трудно далеко продвинуться в одиночку. И ещё в одном важном смысле то, что здесь происходит, — всегда сотрудничество: ответы рождаются в команде — я делаю предложения, вы их обдумываете и составляете собственное мнение.

## О стиле

Я мог бы выбрать другой подход. Некоторые авторы постарались бы быть беспристрастными, приводя лучшие аргументы каждой стороны, взвешивая доводы за и против и надёжно скрывая собственную позицию, собственные взгляды. И они могли бы думать, что если цель — побудить людей составить собственное мнение, оставить им свободу решать, то так и следует поступать. Ведь мы неизбежно поддаёмся влиянию прочитанного, и если какой-то философ волен излагать свою точку зрения без того, чтобы ей противостояла противоположная, то многие, особенно новички в предмете, поддадутся этому влиянию. Так что, если я честно говорю, что хочу, чтобы вы пришли к собственному взгляду,

мне следовало бы избрать этот бесстрастный, отстранённый подход.

Но здесь стоит внести ясность. Ибо легко смешать две вещи: приводить лучшие аргументы обеих сторон — и быть беспристрастным, уравновешенным, ни к чему не приверженным. Иногда истину трудно обнаружить, и тогда противоположные аргументы вполне могут весить одинаково. Но в других случаях дело практически ясное, и лучшие аргументы одной стороны явно разбивают соперников. Трудно понять, например, как могут существовать весомые доводы и за, и против расизма, мучения животных или веры в фей. И трудно понять, как в таких случаях книга, сидящая на заборе и предлагающая читателям якобы уравновешенные аргументы, могла бы быть вполне честной. Она могла бы ещё и раздражать. Давным-давно греческого философа Карнеада пригласили в Рим показать свои дарования. В первый день он убедительно доказал, что справедливость в основе своей совершенно естественна. На следующий день он столь же убедительно доказал, что она целиком дело условности. Римляне не знали, что и думать, — знали только, что по меньшей мере однажды их провели, — и Карнеаду пришлось покинуть город. Вот вам и равновесие.

Остаётся, однако, ещё одна возможность: приводить лучшие аргументы, сколь бы сильны они ни были, а затем отступить и позволить им говорить самим за себя. Не лучше ли так? Возможно, но я здесь так не поступаю. Это не учебник, и я не пытаюсь быть учителем. Я пытаюсь ответить на вопросы. Поэтому, хотя я привожу возражения против выдвигаемых взглядов, я даю ясно понять, что, по крайней мере во многих случаях, эти возражения, по-моему, можно опровергнуть. И мне не кажется ни лёгким, ни интересным уклоняться от того, чтобы принять чью-то сторону.

Это одно замечание о стиле. Нужно упомянуть и ещё одно. Скажу честно: это не самая захватывающая книга из тех, что вы когда-либо прочтёте. Может быть, даже не самая захватывающая книга по философии. Но если так, то отчасти потому, что я, опять-

таки, просто пытаюсь ответить на вопросы. Однако кое-что нужно объяснить.

В философии есть два противоположных стиля: с одной стороны — строители систем, нередко стремящиеся к философии всего, где разные части хорошо подогнаны друг к другу, с другой — скептики и критики, охотно занимающиеся разбором и выискиванием изъянов в том, чего, как полагают строители систем, они достигли. Строители систем, конечно, обычно пишут книги потолще. Вернёмся почти к самому началу — и вот резкий контраст между Сократом и Платоном: непринуждённые беседы более раннего философа против многочисленных томов более позднего. И если Сократ был прежде всего вопрошающим, утверждавшим — пусть не всегда убедительно, — что ничего не знает, то Платон, по крайней мере в некоторые периоды жизни, создал связное и хорошо выстроенное целое. Похожий контраст возникает в XVIII веке между шотландским философом Дэвидом Юмом и, в Германии, Иммануилом Кантом. Юм выступает как признанный скептик, озабоченный прежде всего тем, чтобы показать: системы его современников и предшественников, хоть и много обещают, неизменно не выполняют обещанного. Они внушительны, замысловаты и эффектны, но честолюбие берёт над ними верх, и их слишком легко подорвать. И именно скептическая работа Юма побудила Канта создать к концу жизни свои три большие книги, снова твёрдо утвердив честолюбивую и систематическую философию. Контраст вновь возникает в следующем веке. Хотя их часто упоминают вместе, философия пессимизма Шопенгауэра, воздвигнутая на кантовском фундаменте, — работа гораздо более крупная и стройная, чем импровизационные, полные намёков и часто непоследовательные сочинения Ницше. А Витгенштейн охватил обе стороны: сначала построил систему, а потом, после своего рода перерыва, её разрушил. Я на стороне скептиков. Дело не только в темпераменте, хотя и он, должно быть, играет роль. Важнее то, что, как мне кажется, когда философия метит высоко, она обычно берёт на себя слишком много. Жизнь неопрятна,

неопрятно и то, что мы о ней говорим и думаем, а систематическая философия, ищущая чистых линий, изящества, точности, по-видимому, слишком мало это учитывает. Более или менее то же бывает всякий раз, когда теоретизирование о человеческой деятельности слишком увлекается собой: коммунизм, монетаризм и модные диеты хуже отвечают сложности наших интересов и потребностей, чем более прагматичные и открытые решения. Хотите похудеть — ешьте меньше. Хотите жить лучше — думайте больше. Вот в чём суть. Но это не оставляет более скептической философии без дела. Она может, с одной стороны, протыкать притязания своих раздутых и выспренних соперников. А с другой (и это не вполне отдельная задача) — служить исправлением повседневных ошибок и путаницы. И это немало. В итоге многие аргументы этой книги в важных отношениях критичны. Я часто нахожу изъяны в более эффектных и головокружительных взглядах. И нередко предполагаю, что более смутная позиция лучше. Кроме того, во многих случаях ответы, которым я отдаю предпочтение, ближе к здравому смыслу, а потому уже знакомы и по этой причине менее захватывающи, чем некоторые их соперники. Не хочу преувеличивать и не хочу отрицать, что в каждой главе (по крайней мере, так я думаю) есть и мысли, и аргументы, которые многим покажутся вызывающими и новыми. Но это исключения; преобладают разумные, умеренные и, надеюсь, успокаивающие взгляды. Так, например, я предполагаю, что одни жизни более осмысленны, чем другие, а не что все они безнадёжно абсурдны. Подобным же образом я доказываю, что умереть часто, но не всегда плохо, и тем самым отвергаю и взгляд, что смерть всегда плоха, и взгляд, что она никогда не бывает плохой. И уже в этой главе я хотел сказать, что вполне можно понять утверждение, будто каждый — философ, не горячась по поводу того, согласны мы с ним или нет. Ничего из этого не особенно удивительно и не особенно вызывающе. Но всё это, думаю, верно. А мне нужна именно истина.

Сделаю здесь ещё одно замечание. Кто-то однажды сказал, что меня самого, похоже, не особенно волнуют и не захватывают проблемы, которыми я здесь пытаюсь заняться. Возможно, в этом что-то есть. Всякий, кто вырос в Йоркшире 1950-х — регби и угольные шахты на западе, болотистые низины на востоке, на ужин жареная капуста с картошкой, — рано учится держать волнение и воодушевление при себе. Это северный вариант английской сдержанности. Но если бы мне не были дороги, и глубоко, эти вопросы и ответы на них, я не написал бы этой книги.

*Глава 2*

# Священна ли жизнь?

> *Я призываю всех американцев задуматься о святости человеческой жизни. Отметим этот день подобающими церемониями в наших домах и местах богослужения, вновь посвятим себя милосердному служению слабым и беззащитным и подтвердим нашу приверженность уважению жизни и достоинства каждого человека.*
>
> (Джордж Буш-младший, объявляя воскресенье 20 января 2002 года Национальным днём святости человеческой жизни)

Я слушаю дневную передачу по радио. Одна женщина пытается не дать двум другим растерзать друг друга. Первая из них — профессор такая-то из такого-то университета — яростно выступает против эвтаназии и настаивает, что все мы должны продолжать жить, и радоваться, что живём, до более или менее естественного конца. Другая тесно работает со смертельно больными, некоторые из которых хотят умереть, и она возмущена тем, что первая считает, будто знает, что для них лучше. Они спорят о святости жизни.

Такие вопросы задевают за живое. И часто люди, выступающие за или против этого взгляда о святости, стремятся воплотить свои идеи на практике: заставить людей поступать одним образом, а не другим, изменить или защитить законы страны, сильнее бороться за жизнь или спокойнее принимать смерть. Страсти накаляются. И поскольку от этого так многое зависит, кажется важным как можно скорее выяснить, где истина, кто из этих людей прав, а кто нет.

Однако прежде чем решать, священна жизнь или нет, неплохо бы, если возможно, разобраться, во что именно верят люди, когда верят — или говорят, что верят, — в святость жизни. Ибо это может оказаться гораздо менее ясным, чем кажется на первый взгляд.

Часто люди полагают, что знают, что думает оппонент, ещё до того, как по-настоящему выяснили его позицию. А иногда люди и сами толком не продумали, что имеют в виду, говоря о святости жизни. Поэтому первое, что нужно сделать, — попытаться перебрать разные вещи, которые можно иметь в виду, утверждая, что жизнь священна. Разброс позиций велик, и некоторые из них могут показаться заведомо несостоятельными. Затем стоит сосредоточиться на паре более правдоподобных и вместе с тем более распространённых взглядов и рассмотреть их подробнее, чтобы понять, в чём их суть. А если мы яснее поймём, что они утверждают, можно будет перейти к главному вопросу: истинны ли эти взгляды?

## Жизни

Первое осложнение касается самой жизни. Одни, утверждая, что жизнь священна, думают только о людях, о человеческой жизни. И часто, когда вы слышите об этом по радио или телевидению, читаете в газетах или узнаёте, что это обсуждают в парламенте или в судах, речь идёт именно о человеческой жизни — и, пожалуй, особенно о проблемах аборта, эвтаназии, а может быть, и смертной казни. Другие, однако, думают, что священна и жизнь животных, или по меньшей мере некоторых животных. Так, если одни вегетарианцы избегают мяса по соображениям здоровья, то другие считают, что коровы, кролики, индейки, а может быть, и лососи с устрицами должны иметь возможность прожить свою жизнь до конца — так же, как обычно можем прожить свою мы. По-видимому, так думала Мэри Уолстонкрафт в своих рассказах, предназначенных для нравственного воспитания детей, и вскоре после этого, в XIX веке, было основано Королевское общество защиты животных от жестокого обращения. Чуть позже последней каплей для Ницше, перед тем как он погрузился в безумие, стала встреча на улице Турина с человеком, хлеставшим и избивавшим свою лошадь. Третьи считают священной всякую жизнь — людей,

животных и растений. Хотя чаще всего он говорил о необходимости благоговения перед жизнью, музыкант, врач и философ Альберт Швейцер был, по-видимому, одним из самых известных сторонников этого более широкого взгляда на святость, и некоторые думают, что сходной позиции держится принц Чарльз. И многие защитники окружающей среды, особенно называющие себя сторонниками глубинной экологии, выступая против автомагистралей, объездных дорог, взлётно-посадочных полос, считают, что ценна всякая жизнь.

## Отношения

Второй вопрос, более сложный, касается нашего отношения к жизням, которые мы считаем священными. И здесь есть более узкие и более широкие взгляды. Одни настаивают, что дурно убивать, хотя смерти, которые можно приписать естественным причинам, их не всегда тревожат. Но чаще здесь проводится связь: люди выступают против убийства, потому что считают смерть всегда злом. А тогда более широкий взгляд, по-видимому, доводит до конца то, что, очевидно, из этого следует, и предполагает, что мы должны стремиться также сохранять или продлевать жизнь. Так, врачи должны делать всё возможное, чтобы сохранить жизнь пациентам, а не позволять им, как это часто бывает, в некоторых обстоятельствах умереть. Ещё более широкий взгляд гласит, что мы не должны препятствовать возникновению жизни или мешать ему. Католики, как известно, считают противозачаточные средства недопустимыми: когда жизнь так близко, ей не следует препятствовать. Наконец, некоторые считают жизнь ценной или священной в таком смысле, что чем больше жизней, тем лучше. Мы должны не только быть готовы к детям, если уж занимаемся сексом, но и деятельно искать, с кем бы им заняться, чтобы рождалось больше детей. И хотя всё скоро идёт ужасно не так, доктор Франкенштейн, по-видимому, придерживается некоего подобного взгляда на ценность жизни, когда искусственными средствами

берётся создавать то, что оказывается его чудовищем. Эта история до сих пор отзывается в наших страхах перед злоупотреблением техникой, перед гордыней; но даже если мы опасаемся сами создавать новых людей, многие из нас думают, что было бы хорошо, если бы Бог создал больше планет и больше жизней на них.

## Условия

Когда эти разные позиции — во-первых, о родах жизни, во-вторых, об отношении к жизни — пересекаются, возникает целый спектр возможных взглядов. Одни из них покажутся правдоподобными: если вы считаете, что жизни не следует препятствовать, вы сочтёте дурным стерилизовать кошку, а если считаете, что жизнь надо приумножать, то окажетесь среди тех, кто посадил дерево в честь нового тысячелетия. Другие же покажутся слишком крайними и надуманными, чтобы всерьёз претендовать на роль взгляда о святости жизни. Конечно, никто не станет думать, что в мире должно быть как можно больше слизней. И никто не станет думать, что мы должны делать всё возможное, чтобы предотвратить гибель крапивы. Но теперь нужно ввести осложнения, которые показывают, как этих нелепых взглядов можно избежать. Что такие осложнения могут быть, яснее всего, пожалуй, в случаях убийства.

Подумаем только о людях. Одни считают, что убивать людей дурно при любых условиях, что бы ни было. Другие же полагают, что хотя убивать в целом дурно, могут быть исключения. Они могут думать, например, что, хотя жизнь священна, смертная казнь может быть оправдана. Дурно убивать невинных, и именно потому, что некоторые люди делают как раз это, их, в свою очередь, можно или нужно убить. Сходным образом некоторые сторонники святости жизни допускают убийство при самообороне. Или, опять-таки близко к этому, разрешают убить одного, чтобы спасти многих. Или убить плод, чтобы спасти жизнь матери. Эти разнообразные оговорки показывают, что запрет на убийство для таких людей не

непреклонен и при некоторых обстоятельствах может быть снят. Но это различие между безусловными и условными взглядами касается не одного лишь убийства, оно может возникнуть и в других местах. Так, хотя святость жизни можно понять как требование приумножать новые жизни, сколько можем, что бы ни было, можно также — и это, конечно, разумнее — считать, что всякое такое предписание должно быть условным: начинайте новые жизни, пока есть место, или если есть время, или если они не помешают уже существующим жизням, или при каком-то подобном условии.

В этом важном осложнении нужно ясно разобраться. Чем уже взгляд на святость, тем легче оперировать безусловными требованиями. Чем он шире, тем важнее — если дело не должно быть безнадёжным с самого начала — допустить в картину и другие соображения. Так, действительно можно верить, например, что убивать людей всегда и безусловно дурно — дурно при всех обстоятельствах, дурно что бы ни было. Но гораздо труднее верить в это об убийстве вообще. Возьмём Альберта Швейцера. Его взгляд не был нелепым. Хотя он думал, что всякая жизнь священна и её нельзя прекращать без веской причины, он всё же считал, что мы с полным основанием можем уничтожать растения, чтобы кормить скот, а скот, в свою очередь, забивать, чтобы кормить людей.

## Ценности

Здесь нужно упомянуть ещё одно осложнение. Оно касается того, какого рода ценностью обладает жизнь. И оно требует провести два различения — одно довольно простое, другое потруднее.

Во-первых, есть различение, которое проводят все взгляды о святости. Если вы думаете, что жизнь — или, может быть, только человеческая жизнь — священна, вы думаете, что у неё есть ценность или значимость помимо её полезности для других. Жизнь ценна не только как ресурс или средство для достижения цели. Даже если у людей, животных и растений есть инструментальная

ценность — почтальоны разносят почту, собаки вынюхивают наркотики, картофель помогает нам выжить, — у них, по мнению сторонников святости, есть и другая ценность, и часто более важная. Но что это за ценность? Многие хотят настаивать, что жизнь, или человеческая жизнь, обладает внутренней ценностью, ценна сама по себе. Они думают, что жизнь — благо независимо от её следствий или пользы для чего-то другого.

Теперь более трудное различение. Помимо внутренней ценности, здесь, возможно, есть место для разговора о личной ценности — как ещё об одной противоположности ценности чисто инструментального рода. Так что, помимо мысли, что жизнь может быть ценна сама по себе, мы можем думать, что она ценна для того человека, а может быть, и для того существа, чья это жизнь. Поможет пример — дядя Джо. Он стар, болен и лежит в больнице. Все согласны, что это лишь вопрос времени. Катарина, всегда бывшая жестокосердной, думает, что было бы лучше покончить со всем прямо сейчас. В конце концов, жизнь Джо не в радость, работать он не может, ни для кого не полезен — и подумайте, сколько сэкономили бы на больничных счетах. Пита деньги не интересуют. Он думает, что нужно сделать всё возможное, чтобы облегчить боль, сделать оставшееся Джо время достойным и ценным и дать ему ещё немного той жизни, которую он хотел бы прожить. Винсент согласен насчёт денег, но сомневается, что можно ещё многое сделать для Джо. И всё же он против эвтаназии, хочет того Джо или нет. Он думает, что, как бы плохо ни было, жизнь должна быть прожита до конца.

Пит и Винсент оба против узкого, инструментального взгляда Катарины на человеческую жизнь. Но если Пит думает, что жизнь Джо может быть благом для него самого, то Винсент, по-видимому, считает, что продолжение его жизни, по крайней мере до естественного конца, — благо само по себе, даже если оно не благо для Джо.

Это понятие личной ценности достаточно знакомо. Большинство людей, увлекающихся футболом, балетом, виски или

видеоиграми, ценят их не потому, что они полезны или служат средством для получения чего-то другого. Они ценят их просто за то, что они есть. Но едва ли кто-нибудь думает, что виски, например, обладает внутренней ценностью, ценно само по себе. Скорее, оно ценно лишь потому, что людям оно действительно нравится. И я хочу здесь подчеркнуть, что, в отличие от виски, жизнь может быть ценна любым из этих двух способов. Может быть, продолжение вашей жизни хорошо лишь до тех пор, пока в ней что-то есть для вас, пока она обладает личной ценностью. Но жизнь может обладать и внутренней ценностью, и её продолжение может быть благом само по себе, независимо от того, благо ли оно для вас.

## Религия, разум и два взгляда

Что же именно значит сказать, что жизнь священна? До сих пор мы лишь указали на довольно много — может быть, слишком много — вещей, которые это может означать, не предложив никакого способа выбрать между ними. Но, возможно, такой способ есть. Ведь некоторые думают, что нужно понять выражение «святость жизни» буквально, внимательно изучить его историческое происхождение — и тогда его истинный смысл всплывёт на поверхность, а остальные отпадут. А если понимать его буквально и смотреть на происхождение, ясно, что между идеями святости и религиозными верованиями есть связь. Точнее, некоторые захотят сказать, что это по существу христианское понятие, причём довольно очевидно ограниченное убийством людей.

Верно ли это? Не вполне, думаю, хотя в этом многое есть. Идея священного в основе своей лежит в самом сердце многих религий с их упором на святое, на места и вещи, которые были освящены, — рощи, иконы, храмы, мощи, — и с их вниманием к обряду и таинству. И христианство, конечно, этим очень озабочено. Конечно, и христианство, и стоящий за ним иудаизм очень озабочены именно ценностью человеческой жизни: хотя шестая заповедь гласит, по

видимости в общем виде, «Не убивай», довольно ясно, что речь в ней идёт только о людях. Но нет смысла делать вид, будто здесь всё чёрно-белое. Может быть, даже христианство озабочено и жизнью нечеловеческой. Некоторые места Книги Бытия на это намекают, а святой Франциск Ассизский определённо считал, что так и должно быть. И может быть, оно озабочено не только тем, чтобы удержать нас от убийства: одно из того, что Библия велит нам делать, — плодиться и размножаться, и, как я отметил, многие христиане против противозачаточных средств. Стоит заметить и то, что, хотя идеи святости занимают в христианстве центральное место, Библия нигде прямо не говорит, что жизнь священна, и ни Библия в частности, ни христианская традиция в целом прямо не осуждают аборт, смертную казнь или войну. Так что требуется немало толкования, чтобы извлечь даже самые основные идеи о святости жизни из их христианского контекста.

И наоборот, требуется немало усилий, чтобы не допустить таких идей в другие религии. Иудаизм и ислам тоже делают упор, хотя и не совсем такой же, на человеческой жизни, а многие другие религии заметно шире озабочены священностью или ценностью жизни и дурностью убийства. Дальше всех идёт джайнизм, ответвление индуизма: он требует от последователей скорее допустить собственную смерть, чем отнять хоть какую-то жизнь. И, что важно, не следует останавливаться на религии. Атеисты и агностики часто признают свою веру в святость жизни, и даже если слово «священный», по-видимому, настаивает на явно религиозной связи, родственные понятия благоговения и уважения доступны как их светские соответствия. Так что настаивать на особо религиозном или особо христианском толковании идей святости кажется неоправданным педантизмом. Нам следует признать, что язык бывает несколько расплывчат, и не пытаться связать его искусственными ограничениями.

К религиозным взглядам я ещё вернусь чуть позже, а пока может показаться, что мы вернулись к исходной точке: перед нами большой разброс взглядов и нет способа выбрать между ними. Но

это не совсем так. Помните, что на самом деле мы хотим выяснить, что говорит в пользу веры в святость жизни. Это важнее, чем выяснить, что на самом деле означает выражение «жизнь священна». Может быть, у него просто нет одного-единственного подлинного значения. Мы же можем рассмотреть некоторые из предлагаемых толкований этого выражения и затем спросить: при таком толковании какие есть основания считать это выражение истинным? И мы можем сосредоточиться всего на двух толкованиях, оба из которых по видимости правдоподобны и оба довольно широко поддерживаются, и посмотреть, в чём их суть. Полезно выбрать толкования, заметно отличающиеся друг от друга, так мы и поступим.

## Благоговение перед жизнью

Начнём с этого, поскольку с ним легче разобраться. Это тот взгляд на святость, который я приписал Альберту Швейцеру. Идея в том, что все живые существа ценны не тем, что могут сделать для нас или друг для друга, а сами по себе. И поэтому дурно убивать что-либо без веской причины и в целом прискорбно, когда что-то умирает, особенно преждевременно.

Это не крайний взгляд. В том виде, в каком я его здесь очертил, упор делается на том, чтобы не убивать, а не на деятельном создании новой жизни. И он не говорит, что убийство так ужасно, что мы никогда не должны его совершать. Даже если джайны теоретически обязаны уморить себя голодом, нам незачем следовать за ними по этому пути: можно испытывать благоговение в том смысле, который здесь имеется в виду, и при этом есть — умеренно, когда нужно. Но хотя этот взгляд не крайний, у него есть трудности.

На первую я только что намекнул. Это на самом деле довольно расплывчатый и небрежный взгляд, и трудно точно определить, к чему он сводится. Хотя большинство из нас охотно согласятся, что убивать без веской причины дурно, мы, весьма вероятно,

разойдёмся в том, какие именно причины весски, а значит, и в том, когда убийство оправдано и когда проявляется благоговение. Если, как я думаю, большинство этих вопросов о жизни и смерти сложны и многослойны, то такого рода разногласия не только можно ожидать, но и приветствовать. Беда, однако, в том, что разговоры о святости и благоговении звучат немного как лозунги: эти выражения заставляют нас ожидать чётких различений, а затем эти ожидания рушатся. Если взгляд будет расплывчатым и небрежным, если в конце концов он, обставленный оговорками, будет таким, что под ним может подписаться почти каждый, — то, конечно, лучше быть таким открыто с самого начала, а не выдавать себя за нечто с чёткими гранями.

Вторая трудность серьёзнее. Как быть, например, с таким случаем?

*Одержимая разрушением.* Эмбер считают милой девушкой. Её родители в 1960-е жили в коммуне, и она переняла многое из их мягких, тихих и миролюбивых манер. Но у неё есть тёмная сторона. Она любит крушить вещи — иногда для разрядки, когда злится, иногда просто ради забавы. И всё же её научили благоговению перед жизнью, поэтому она не станет дёргать кошку за хвост или топтать нарциссы. Что же она делает? Она отправляется в пещеру в самой глуши Дербишира и разбивает сталактиты.

Можно ли кому-либо так поступать? Может быть, вы думаете, что можно, и что сталактиты не так уж важны. Но, может быть, вы думаете, что и крапива с муравьями не так уж важны. А сталактиты, в тысячу раз более редкие, могут быть всё же важнее. Нелегко согласиться, что Эмбер вправе заниматься разрушением такого рода, и вместе с тем убеждать её отказаться от всякого убийства. Нелегко, иначе говоря, думать, что в жизни есть что-то особенно отличительное. Сталактиты не живые, но от этого они не кажутся сразу менее важными, чем некоторые живые вещи. И, может быть, Швейцер в конечном счёте тоже не думает, что в жизни есть что-то особенно отличительное. Он писал:

> Человек подлинно нравствен, только когда повинуется внутреннему побуждению помогать всякой жизни, которой он может помочь, и удерживается от того, чтобы причинить живому какой-либо вред. Он не спрашивает, насколько та или иная жизнь заслуживает сочувствия как ценная сама по себе и насколько она способна чувствовать. Для него свята жизнь как таковая. Он не сломает сверкающей на солнце льдинки, не сорвёт листа с дерева, не сломает цветка и старается не раздавить ни одного насекомого, когда идёт. Если летним вечером он работает при лампе, он предпочтёт держать окно закрытым и дышать душным воздухом, чем видеть, как на его стол одно за другим падают насекомые с обожжёнными и поникшими крыльями.

Листья, цветы, насекомые, может быть, и живые, но кристаллы льда — определённо нет. Так что если мы должны изо всех сил их сохранять, нас должна заботить не одна только жизнь. Тогда, может быть, вся природа? Возможно, и, может быть, Швейцер признаёт здесь, что если нас заботит жизнь за пределами той ступени, где в картину входят чувства, то мало оснований настаивать на твёрдой границе между живым и неживым. И довольно многие думают, что бездумного, ненужного и всё же умышленного разрушения природных вещей нам следует избегать, живые они или нет. Кристаллы льда, скальные образования, песчаные дюны, далёкие планеты и звёзды — всё это вещи, которые не следует ломать, пинать или забрасывать мусором от ракет.

Но тогда почему остановиться здесь? Соблазнительно думать, что и полное пренебрежение к сделанным вещам (сделанным животными — птичьи гнёзда, бобровые плотины — и сделанным людьми, включая стены, храмы, города) тоже заслуживает возражения, даже когда эти вещи заброшены и больше ни для чего не служат. И здесь легкомысленного, бездумного, ненужного разрушения нам следует избегать.

Я вовсе не утверждаю, что нам не следует в том или ином смысле уважать жизнь или благоговеть перед ней, не следует в этом смысле считать её священной. Но дело в том, что если мы должны считать жизнь тем, что нельзя легкомысленно прекращать, то так же следует думать о природе и об изделиях. Может быть, поощрять

нам следует просто общее уважение к вещам. Опять-таки особое, отличительное содержание этого взгляда утекает сквозь пальцы.

## Запрет на убийство

Второе рассматриваемое толкование сосредоточено только на людях. Поэтому его охват гораздо уже. Но его требование гораздо сильнее. Забудьте о небрежности, легкомыслии, беспричинном разрушении как о том, чего следует избегать. Забудьте и все тонкости насчёт веских и неосновательных причин. Здесь всё чёрно-белое. Человеческая жизнь священна. И мы никогда не должны её прекращать — точка.

Спросите людей, что они понимают под святостью жизни, верят они в неё или нет, и, если ответ вообще будет, то, скорее всего, именно в этом духе. У этого взгляда множество и сторонников, и противников. Но те, кому этот взгляд трудно принять, конечно, не хотят карт-бланш на то, чтобы избавляться от кого угодно и когда угодно. Большинство людей думают, что убивать людей дурно почти во всех случаях. Но многие расходятся со сторонниками святости в том, почему это дурно. И они думают, что есть обстоятельства, при которых убийство может быть оправдано. Какие обстоятельства? Если мы ясно поймём, где именно люди хотят расходиться с этим взглядом о святости, то вместе с тем яснее поймём и сам взгляд.

Проведём сначала различение между факторами, лежащими вне данной жизни, и факторами, лежащими внутри неё. Взглянув вовне, можно подумать, что иногда допустимо убить одного, чтобы спасти многих, или убить плод, чтобы спасти мать, или убить одинокого и более или менее бесполезного человека, чтобы спасти научного гения, который к тому же душа любой компании. Всё это спорные утверждения, но здесь они, по-моему, не особенно интересны. И вот почему: в каждом случае можно согласиться, что прекращаемая жизнь ценна, даже если вы при этом настаиваете, что она менее ценна, чем спасаемая жизнь или жизни. Такой подход

«затрат и выгод», или подход балансового отчёта, может соглашаться, что жизни обладают ценностью одного рода, даже если оказываются ценны в разной степени. Интереснее, поскольку это больший вызов взгляду о святости, утверждение, что некоторые жизни — некоторые человеческие жизни — можно прекращать не потому, что они несколько менее ценны, чем другие, а потому, что они вовсе не обладают ценностью. В таких жизнях, скажут некоторые, совершенно отсутствуют те обстоятельства, которые обычно придают жизни ценность. И поэтому, если такие жизни прекращаются, это может быть вовсе не плохо, а может быть даже и хорошо.

Здесь нужно рассмотреть три рода случаев. В первом человеческая жизнь якобы ещё не обладает ценностью, хотя будет обладать ею в будущем. Во втором жизнь сейчас лишена ценности, хотя обладала ею в прошлом. В третьем случае жизнь не обладает ценностью сейчас, никогда ею не обладала и никогда не будет. Эти три случая соответствуют реальным случаям, с которыми может столкнуться каждый из нас: (1) некоторые случаи аборта; (2) случаи, касающиеся людей с болезнью Альцгеймера и в так называемом стойком вегетативном состоянии; и (3) люди с врождёнными пороками развития и дефектами, такими как анэнцефалия, когда человек рождается без головного мозга. По-видимому, верно, что то, что мы наиболее явно ценим в человеческой жизни, — самосознание, представление о будущем и прошлом, способность вступать в отношения с миром и другими людьми и получать от них радость, — в таких жизнях отсутствует. Так что если такие жизни тем не менее ценны, их ценность должна объясняться как-то иначе. Можно выразить это нагляднее. Некоторые употребляют слово «личность» не как синоним слова «человек», а чтобы выделить тех, чья жизнь отмечена самосознанием, чувством времени, осознанием других. Придайте слову такое точное значение — и окажется, во-первых, что могут быть личности, не являющиеся людьми: возможно, Бог, может быть, дельфины или шимпанзе, может быть, марсиане. А во-вторых,

и здесь это важнее, при таком употреблении слова «личность» станет ясно, что есть люди, или человеческие организмы, которые ещё не являются, или уже не являются, или никогда не будут личностями. Вопрос, следовательно, в том, почему эти люди всё же обладают особой ценностью — особой ценностью, которой нет у других вещей, у тигров, гусей, дубов. Ведь, напомню, рассматриваемый здесь взгляд о святости считает людей особенными.

Но откуда мы знаем, что это не личности? Некоторые возражают против привлекаемых здесь научных данных. Они говорят, что мы не можем быть уверены, что плод уже не мыслит, что пациент в коме или в стойком вегетативном состоянии наверняка никогда не поправится или что люди с врождённым поражением мозга не станут лучше при помощи. Но хотя есть трудные случаи, случаи, в которых можно сомневаться в том, что происходит или будет происходить, часто это просто хватание за соломинку. Во многих случаях мы достаточно знаем о работе и сбоях мозга, чтобы знать, что мышление, самосознание и обычные человеческие реакции на мир совершенно отсутствуют.

Другого рода возражение настаивает, что важным фактам не придали должного веса. Нормальный плод, говорят они, — потенциальная личность, нечто, что при обычном ходе природы разовьётся в кого-то вроде нас с вами и тогда будет обладать ценностью. И наоборот, люди с болезнью Альцгеймера или в глубокой и необратимой коме были полноценными личностями и, значит, обладали ценностью. А анэнцефалы, несомненно, принадлежат к виду, нормальные представители которого — личности. Спорить с такими утверждениями мало смысла, ведь все они несомненно верны, но трудность для сторонника святости в том, чтобы объяснить, почему и каким образом они имеют отношение к делу. Итак, она была личностью с ценной жизнью. Почему это основание считать, что её жизнь ценна сейчас?

Здесь вступает в игру одно из проведённых ранее различений. Критики взгляда о святости согласятся, что жизнь часто обладает

более чем инструментальной ценностью. Но, хотят сказать многие из них, в таких случаях жизнь не обладает личной ценностью. Плоды, анэнцефалы, люди с болезнью Альцгеймера или в необратимой коме не хотят оставаться в живых и не заинтересованы в этом. Жизнь для них не благо. Так почему же в таких случаях убийство дурно? У сторонников святости жизни есть два возможных ответа. Во-первых, они могут доказывать, что жизнь всегда благо для того, чья это жизнь. Возможно, в этом что-то есть, когда речь идёт о нормальном здоровом плоде, но в других случаях этот ответ менее убедителен. Или они могут настаивать, напротив, что обладает ли жизнь личной ценностью — к делу не относится. Ибо жизнь, и в частности человеческая жизнь, обладает внутренней ценностью, ценна сама по себе, что бы ни было.

Нужно рассмотреть ещё один род случаев. Он тоже связан с этим различением ценностей и прольёт свет на взгляд о святости — и поставит перед ним трудности. Подумайте о рассмотренных до сих пор случаях, где человек не является личностью в очерченном смысле. Я предположил, что нелегко понять, в чём ценность таких жизней. И сами эти не-личности не могут иметь мнения о ценности своих жизней. В других случаях жизни, может быть, ценностью обладают. И мнения об этой ценности могут быть высказаны.

*Желание уйти.* По дороге в Калифорнию Хосе и Рамон попадают в аварию на межштатной автомагистрали. Одни говорят, что они ехали слишком быстро, другие винят водителя грузовика, третьи говорят, что так уж вышло. Они выживают, но их травмы ужасны: оба почти постоянно испытывают боль, не могут работать или сами о себе заботиться, Хосе в инвалидном кресле, а Рамон до конца своих дней прикован к больничной койке. Лучше не становится. Хосе в конце концов решает броситься с моста Золотые Ворота. Рамон же не может ни помочь себе, ни навредить. Он спрашивает врача, не может ли тот что-нибудь сделать, чтобы прекратить его жизнь.

У Хосе и Рамона много общего. Оба — личности: оба, несмотря на травмы, по-прежнему самосознающие, мыслящие существа. И

оба иногда способны получать от жизни небольшие удовольствия — их жизнь не сплошная мука изо дня в день. Но оба считают, что их жизнь, по совокупности, больше не стоит того, чтобы её жить, и хотят, чтобы она кончилась. Разница в том, что Хосе способен прекратить свою жизнь сам, а Рамон этого не может, и, чтобы получить желаемое, ему нужна помощь других.

Многие сторонники святости жизни будут против обеих смертей. Даже если есть основания проводить юридическое различие, разрешая самоубийство и запрещая эвтаназию, в нравственном отношении случаи равнозначны. Дурно убивать других, хотят они умереть или нет, и дурно также убивать себя. Но почему это дурно? Если вы придерживаетесь этого взгляда о святости, вы будете настаивать, что Хосе и Рамон совершают какую-то ошибку, желая, чтобы всё кончилось. Даже если в их жизни много плохого и даже если она никогда не станет лучше, всё же упускается из виду нечто весьма ценное. Либо продолжать жить для них благо, либо, даже если не для них, — благо само по себе, чтобы эти жизни продолжались. Их жизни обладают либо личной, либо внутренней ценностью. Но с обоими утверждениями, думаю, есть настоящие трудности. Конечно, люди могут ошибаться в оценке ценности своей жизни, преувеличивая плохое и упуская из виду хорошее или смотря на краткий срок и забывая о долгом. И, ошибочно полагая, что жизнь больше не стоит того, чтобы жить, люди могут прекращать свою жизнь тогда, когда, по-видимому, им было бы лучше продолжать. Ромео был прав, огорчившись, когда после того, как их план сорвался, нашёл Джульетту как будто мёртвой. Но умирать из-за неё не стоило. Как и ей из-за него. Оба бы это пережили. Чаттертон тоже почти наверняка переусердствовал, так близко приняв к сердцу свою неудачу как поэта, что покончил с собой в 18 лет. Но точно так же люди могут оценивать верно. Бывают случаи, когда в чьей-то жизни просто недостаточно ценного, чтобы возместить и перевесить плохое, и когда продолжать жить действительно ни в каком смысле не благо для человека. Может быть, так обстоит дело с Хосе и Рамоном.

Может быть, боль, разочарование, безнадёжность будущего так велики, что они правы, думая, что им лучше умереть.

Но если сторонники святости жизни примут это и перейдут к другому взгляду, делая упор на внутренней, а не личной ценности, их позиция покажется ещё более жестокой. Можем ли мы действительно верить, что даже если чья-то жизнь совершенно жалка, ничего не даёт человеку и никогда не станет лучше, он, вопреки своему сильному и обдуманному желанию, должен продолжать жить? И что он должен делать это потому, что продолжение его жизни каким-то образом благо само по себе или благо для вселенной? Дело не только в том, что этот взгляд жесток. И меня тревожит не только то, что я не понимаю, как это благо для вселенной может перевесить зло для человека; меня тревожит более серьёзное опасение — что это понятие внутренней ценности жизни вовсе лишено смысла.

## Снова о религии

Я говорил, что мы вернёмся к религии. Ведь некоторые возразят, что эта сторона взгляда о святости остаётся без внимания. Взгляните на вещи с религиозной точки зрения, говорят они, и тогда и особость человеческой жизни, и безусловный запрет на убийство будет легче объяснить.

Здесь можно сделать несколько замечаний. Во-первых, верующие часто говорят, что особенными нас делает то, что только у нас есть душа. Более того, душа есть у всех нас, как бы мы ни были молоды, стары, недоразвиты, дряхлы или беспомощны. Многие сомневаются, что это так, и даже сами христиане ломали голову и спорили о том, когда именно душа соединяется с плодом. Но даже если допустить, что души существуют и пребывают в человеческих телах всё это время, взгляду о святости это мало помогает. Ведь верящие в душу, христиане и нехристиане, часто думают, что душа каким-то образом заточена в теле и будет освобождена из этого часто несчастного заключения в момент смерти. Такого взгляда

придерживался Сократ — за века до рождения Иисуса — и поэтому верил, что его смерть не будет той трагедией, которой боялись другие. Так что даже если уничтожить душу человека, будь это возможно, было бы плохо, ценность души не даёт нам никакого основания не уничтожать его тело.

Другой религиозный взгляд: жизнь — дар Божий, и не нам её прекращать. Поэтому мы проявляем неуважение к этому дару, если становимся причиной смерти человеческой жизни, в каком бы состоянии она ни была. Но это не вполне ясно. Во-первых, если это действительно дар, а не нечто данное лишь взаймы, то, по-видимому, мы вольны распоряжаться им как хотим. Важнее, пожалуй, то, что если человеческая жизнь — дар, то таковы и жизнь животных, и жизнь растений. Но нам, как считают большинство людей и большинство христиан, позволено прекращать эти жизни.

У религиозной точки зрения есть ещё одна попытка. Люди, и только они, все созданы, и все в равной мере, по образу Божию. Именно это отличает нашу жизнь от жизни животных и растений. И именно это объясняет, почему, прекращая человеческую жизнь, мы по сути посягаем на Бога. Но этот взгляд трудно принять. Трудно понять, как различия между человеческими жизнями, особенно различия между личностями и не-личностями, могут быть лишь поверхностными, а под ними таиться нечто равной ценности, равного достоинства. И даже может возникнуть соблазн повторить почти кощунственные мысли Дэвида Юма в его «Диалогах о естественной религии» и подумать, что если Бог действительно создал нас всех по своему образу, то мастер он неважный.

Может быть, у этих аргументов больше достоинств, чем я предполагаю, или, может быть, у религии есть что ещё сказать, что могло бы объяснить, почему убивать людей всегда дурно. Но, очевидно, одна из трудностей любого из этих аргументов в том, что они подействуют только на тех, кто сам смотрит на жизнь с религиозной точки зрения. Если взгляды о святости вынуждены опираться на религию, они вряд ли одержат верх.

## Священна ли жизнь?

К чему же мы пришли? Кое-что из сказанного мною здесь спорно, но ничто не столь спорно, как может показаться. Опять-таки есть соблазн — которого следует избегать — видеть вещи более чёткими, более чёрно-белыми, чем они есть на самом деле. Выступая против некоторых взглядов о святости жизни, я не хотел внушить, что жизнь лишена ценности или что не должно быть никаких ограничений на убийство. Таких ограничений много, и они должны быть. Даже в тех случаях, когда люди не являются личностями, есть много оснований считать, что жизнь должна продолжаться, много оснований не прекращать её. То, что люди хотят детей, — основание их иметь и основание предоставить плодам некоторую защиту закона. То, что родственники будут удручены, если человеку в стойком вегетативном состоянии позволят умереть, имеет отношение к тому, должна ли эта жизнь продолжаться. И то, что все мы чувствовали бы себя менее защищёнными, если бы людей с болезнью Альцгеймера обычным порядком умерщвляли, как только исчезает личность, — довод против эвтаназии. Но эти основания не апеллируют к внутренней или личной ценности человеческой жизни. Поэтому они не связаны со взглядами о святости. И такие основания не столь весомы, чтобы сразу же перевешивать любые противоположные доводы. Поэтому они не дают тех простых ответов на нравственные дилеммы, которые обещают многие взгляды о святости.

Почему же я так отрицательно отношусь к святости? Пожалуй, это уже ясно. Я думаю, что о жизни и смерти действительно много хороших вопросов. Многие взгляды о святости жизни дают на эти вопросы аккуратные и готовые ответы. Но они слишком аккуратны, слишком готовы и делают вопросы хуже. Они отменяют работу, которую нужно проделать.

Главная цель этой главы, следовательно, состояла не просто в том, чтобы прояснить дело, хотя кое-что, надеюсь, стало теперь яснее, чем было. Скорее её цель была в том, чтобы противостоять

попыткам прояснить дело посредством ссылки на святость жизни. Если вещи не так уж часто чёрно-белые, если они редко бывают аккуратными и готовыми, то, размышляя о вопросах жизни и смерти, нам не остаётся ничего иного, как рассматривать круг проблем от случая к случаю. Это мы и сделаем.

*Глава 3*

# Плохо ли умереть?

*Тот, кто притворяется, будто смотрит на смерть без страха, лжёт. Все люди боятся умереть; это великий закон чувствующих существ, без которого весь род человеческий вскоре был бы истреблён.*
(Жан-Жак Руссо, «Новая Элоиза»)

Подумайте обо всех ужасных вещах, которые могут с вами случиться, — и смерть, весьма вероятно, окажется среди них. Для некоторых из нас это самое худшее, хуже ничего быть не может, и жизнь в любом состоянии лучше. Для других, и, может быть, для большинства, это, конечно, плохо, хотя, возможно, лучше умереть, чем подвергнуться пыткам или увидеть, как у тебя на глазах убивают твоих детей. Это отношение к смерти подтверждается нашей реакцией на новости и окружающие события: война тем ужаснее, чем больше погибших; автокатастрофы, в которых гибнут люди, освещаются больше, чем те, где люди получают ранения; смертная казнь хуже тюремного заключения. Подтверждается оно и нашей непосредственной реакцией на опасные ситуации. Если бы мы не считали смерть злом, не было бы смысла уступать дорогу автобусу, часами сидеть в очереди к врачу или выполнять инструкции по безопасности, поднявшись на борт самолёта. И если бы мы не считали смерть злом, нам было бы трудно понять многое из того, что происходит в фильмах, литературе и живописи.

Но не ошибка ли всё это? Действительно ли смерть плоха — или сама эта мысль основана на недоразумении, на том, что мы неверно думаем о смерти, и от неё следует отказаться? Не слишком ли мы все тревожимся о смерти и умирании?

Некоторые думали, что слишком, и настаивали, что на самом деле в смерти нечего бояться, потому что в ней нет вовсе ничего плохого. Смерть, говорят они, просто не то зло, каким её обычно представляют. Но прежде чем думать о том, как этот странный взгляд обосновывается и кто те люди, что его отстаивают, важно ясно понять, что именно утверждается, когда утверждают, что смерть не плоха. А для этого нам опять-таки нужно провести ряд различений. Проведём их сейчас, в самом начале, — тогда потом будет легче не запутаться.

## Некоторые различения

Итак, во-первых, различим умирание и состояние смерти. Умирание — процесс, часто долгий и затяжной и слишком часто мучительный, который мы проходим, пока живы. Более того, умирать могут только живые. Это процесс, который, конечно, обычно кончается смертью. («Обычно» — думаю, потому, что человека, который действительно умирает, скажем от потери крови, иногда можно спасти от смерти.) А само состояние смерти — это состояние, в котором все мы рано или поздно окажемся. Можно думать, что мы переходим от умирания к смерти без всяких промежуточных стадий. А можно думать, что есть мгновенное событие — сам момент смерти, — переводящее нас из одного в другое. Это не так важно. Важно различие между тем, что есть в жизни, — процессом умирания, — и тем, что есть после жизни, — состоянием смерти.

Далее, различим разные способы быть мёртвым. Допустим сначала — во что большинство из нас и так верит, — что смерть навсегда и что никто и ничто не вернёт нас к жизни. А затем допустим также — и в это опять-таки многие и так верят, — что смерть, состояние смерти, есть своего рода небытие. Иначе говоря, допустим, что нет никакой загробной жизни из тех, которыми грозят или которые сулят религии: ни рая с девами, ни небес или ада, ни хождения по земле на манер зомби, ни превращения в

вампира. А если это небытие, то, когда вы мертвы, у вас нет ни памяти о прежней жизни, ни надежд на будущее, ни удовольствия или боли, ни сознания того, что вы мертвы. Так что смерть — действительно конец: однажды умерев, вы мертвы навсегда, и для вас по крайней мере все события, мысли, чувства кончены и завершены.

Наконец, различим разных людей, которые могут быть причастны. Есть умерший, с одной стороны, и те, кто остался, с другой. Для умершего нет ничего, а для живых — друзей, врагов, родственников, зрителей, поклонников — есть горе, сожаление, разочарование, безразличие, облегчение и множество других реакций. Их положение совсем не таково, как положение умершего.

Проведя эти различения, легче сосредоточиться на вопросе, которым мы хотим заняться. Само умирание вполне может быть плохо; состояние смерти, если есть ад с огнём и муками, может быть даже хуже; и, конечно, смерть одного человека может иметь ужасные последствия для оставшихся — вспомните, сколько людей были потрясены, когда застрелили Джона Леннона, или как в начале Первой мировой войны убийство Франца Фердинанда повлекло события, в которых погибли миллионы. Но вопрос, о котором мы здесь думаем, отличается от всего этого. Вопрос в том, плоха ли смерть — допустим пока, что это небытие, — для того, кто умирает. Итак, представьте себе…

*Конец не как в сказке.* Молодые влюблённые. Ужин при свечах на берегу реки. Неторопливый джаз, устрицы, шампанское. Они строят планы на совместное будущее. Уже поздно, и она засыпает в машине, которая везёт её домой. Но вдруг кто-то выходит на дорогу, машину заносит, она теряет управление, врезается в мост, переворачивается. Она погибает сразу, мгновенно. Остальные чудом выживают.

Этот случай, конечно, похож на настоящий, произошедший несколько лет назад. Но в этом воображаемом случае нет места сомнению ни в радужном будущем, ни во внезапности смерти. Это делает картину яснее. Можно также допустить, что смерть этой

женщины — огромное потрясение для всех: семья убита горем, друзья скорбят, даже незнакомые люди приносят цветы на место аварии и к её дому. Но всё же мы можем спросить: случилось ли что-то плохое с ней самой?

Многие из нас подумают, что да. Вот она — молодая, красивая, у неё всё впереди. И вдруг её нет. Или случай, о котором я услышал только сегодня: два иранских юриста, близнецы двадцати девяти лет, сросшиеся головами. Оба умирают, ещё под наркозом, когда на поздней стадии операция по их разделению идёт не так. Быть отрезанным, уничтоженным, вычеркнутым, потерять это будущее, эти надежды — разве это не очевидно ужасно? Кто захочет это отрицать? И зачем?

## Против того, что смерть — зло

Может быть, они просто искали известности, стремились продвигать предельно спорные взгляды, отрицая то, что большинству казалось ослепительно очевидным. Но вероятнее, они были искренни и имели — или думали, что имеют, — веские основания для своей позиции. Так или иначе, Эпикур, древнегреческий философ, и Лукреций, его римский последователь несколько веков спустя, оба настаивали, что наш страх смерти иррационален и что смерть для нас не зло. Это известно как эпикурейский взгляд на смерть. Но почему в него верить, и как — если вообще — они могли его обосновать?

Он связан с двумя весьма общими убеждениями, которых они оба держались, и вытекает из них. Во-первых, Эпикур и Лукреций были атомистами: задолго до того, как у такого взгляда появилась какая-либо научная поддержка, они верили, что всё существующее во вселенной — это частицы вещества, сочетания таких частиц и пустоты между ними. Или, как выразился их предшественник Демокрит, нет ничего, кроме атомов и пустоты. И именно потому, что в этом смысле они были атомистами, Эпикур и Лукреций могли верить, что после смерти мы по сути перестаём существовать, а

значит, смерть и состояние смерти для нас по сути ничто. Подумайте о телевизоре или мобильном телефоне. Сначала мелкие неполадки, потом он работает всё ненадёжнее, а затем ломается окончательно. То ли от досады, то ли потому, что он большего не заслуживает, вы разбиваете его вдребезги. Хотя у вас в руках остаётся горстка пыли — ведь атомы остаются, — телевизора, телефона больше нет. Так, по мнению атомистов, обстоит дело и с нами при смерти.

Во-вторых, они были также гедонистами. Это слово может показаться нагруженным, и даже сегодня мы иногда называем эпикурейцем человека, преданного роскошной жизни, хорошему вину, изысканной еде. Но, хотя некоторая связь здесь есть, гедонисты — не просто грубые искатели удовольствий. Не грубые — потому что, помимо самых бросающихся в глаза примеров, есть более тонкие и долговечные удовольствия, которыми можно наслаждаться: может быть, музыка, дружба, известие о том, что воробьи не вымирают. И не просто искатели — потому что гедонистов не меньше заботит избегание боли, чем поиск удовольствия, а беда некоторых грубых или очевидных удовольствий в том, что за ними следует боль. Но и боли нужно принимать во внимание не только очевидные, но и более тонкие: разочарование, горе, тревога — всё это для нас плохо и говорит против благой жизни ничуть не меньше, чем похмелье, ободранные колени и артрит. И гедонисты не заботятся лишь о себе любимом: доставлять удовольствие другим так же хорошо, как получать его самому. На чём они хотят настаивать, так это, во-первых, на том, что делать добро — значит делать добро кому-то или чему-то, и, во-вторых, на том, что нечто есть благо для кого-то или чего-то тогда и только тогда, когда оно прибавляет удовольствия или убавляет боли (или наоборот). Так что добро и зло связаны с ощущением. А поскольку, будучи мёртвыми, мы ничего не ощущаем — ни хорошего, ни плохого, — смерть не может быть для нас злом. Или, как говорит Эпикур:

> Приучай себя к мысли, что смерть для нас ничто: ведь всякое благо и зло — в ощущении, а смерть есть лишение ощущения… Таким образом, самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения: когда мы есть, то смерти ещё нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Итак, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых, так как для одних она сама не существует, а другие уже не существуют для неё.

Ошибочно поэтому, при таких взглядах, думать, что наша молодая женщина как-либо страдает от своей смерти или терпит от неё ущерб. Умирание было внезапным и безболезненным. Оно было неожиданным, и не было ни страха, ни тревоги заранее. Другие скорбят, но она этого не знает. Она мертва и потому ничего не чувствует и не будет чувствовать. А значит, ничего плохого с ней не произошло.

У этого аргумента есть и другая линия. Лукреций предлагает нам подумать о двух периодах небытия — о времени до нашего рождения и о времени после нашей смерти. Почти никто не жалеет, что не родился раньше, и не думает, что в этом более раннем периоде небытия есть что-то плохое. Но тогда кажется иррациональным и непоследовательным надеяться умереть позже и думать, что в небытии в более поздний период есть что-то плохое. Оба периода для нас одинаково лишены сознания и ощущений, удовольствия и боли, и оба одинаково лежат за пределами нашей жизни. С нашей точки зрения, между ними нет разницы.

## Кто может в это поверить?

Эпикурейцы хотели сделать жизнь лучше. И они думали, что, если бы мы смогли увидеть истину о смерти, мы смогли бы иначе отнестись к собственной кончине — спокойнее, с меньшей тревогой, без страха.

Но можем ли мы действительно надеяться усвоить этот урок? Или им предстоит изрядно потрудиться, убеждая других в своих взглядах? Здесь стоит заметить, что если гедонизм в той или иной форме может казаться сравнительно распространённым, то атомизм — определённо нет. Даже если для горстки греков атомы

существовали в теории, большинство людей за всю историю мира никогда о них и не слышали. И хотя многие сегодня верят, что атомы существуют, лишь немногие из нас атомисты, верящие, что больше ничего нет: многие думают, что есть ещё боги, или духи, или души. Уберите из вселенной все атомы — из этого не будет следовать, что нет богов. Разделите или уничтожьте атомы в чьём-то теле — из этого не следует, что дух или душа исчезнут. Так что этот эпикурейский взгляд в лучшем случае подействует только на тех, кто верит, что смерть — действительно конец, и отказался от рассказов о загробной жизни. На многих греков и римлян, большинство из которых были так или иначе религиозны, он не действовал, и по-настоящему не действовал он и на протяжении двух тысяч лет христианства, когда духи и души, рай и ад принимались более или менее как данность. Бывали исключения. Шекспировский Гамлет в своём знаменитом монологе бьётся над вопросом, принесёт ли ему самоубийство небытие или после него будет какой-то опыт и придётся платить какую-то цену. Примерно в то же время во Франции Монтень писал в своих «Опытах» о смерти как о своего рода уничтожении. В XVIII веке Дэвид Юм шокировал Босуэлла показным спокойствием перед лицом скорой кончины. А в начале прошлого века Витгенштейн, по-видимому, сознательно вторил эпикурейскому взгляду в загадочном изречении своего «Трактата»: «Смерть не есть событие жизни». В последнее время эпикурейство обсуждают всё шире, поскольку традиционным религиозным верованиям всё труднее выживать, а размышления о загадках жизни и смерти освободились от прежних ограничений. И всё же сторонников у него лишь горстка.

## Некоторые загадки

Но, может быть, вы один из них. Может быть, вы и раньше не тревожились о смерти и считали, что тревожиться незачем. Или, может быть, познакомившись с эпикурейским взглядом, вы сразу же убедились. Но гораздо вероятнее, пожалуй, что вы подозреваете

в нём что-то не совсем верное. И что-то не совсем верное — даже если вы, как большинство атеистов, признаёте, что смерть — конец и что дальше ничего нет. Атеисты не меньше верующих бывают несчастны из-за смерти, и многие из них находят мало утешения в мысли, что впереди вечность небытия. Возьмите, например, Филипа Ларкина, которого большую часть жизни снедали мысли о собственном исчезновении, и чем ближе к концу, тем сильнее. В позднем стихотворении «Утренняя песня» («Aubade») он сначала отправляет в отставку традиционную религию — «эту огромную, изъеденную молью музыкальную парчу, созданную, чтобы притворяться, будто мы никогда не умрём», — а затем разносит эпикурейцев. Ведь у них:

> [Ф. Ларкин, «Aubade», строфа 3: шесть строк от слов «…specious stuff that says No rational being…» до слов «…The anaesthetic from which none come round». Смысл: обманчивые рассуждения, будто разумное существо не может бояться того, чего не почувствует, — не видя, что именно этого мы и боимся: ни зрения, ни звука, ни осязания, ни вкуса, ни запаха, нечем думать, некого любить и не с кем быть связанным — наркоз, после которого никто не очнётся. — Вставить существующий русский перевод или оригинал.]

Что же отвечают эпикурейцы? Нет смысла отрицать ни того, что этот страх смерти для многих реален, ни того, что испытывать его для нас плохо. Но, будут они настаивать, это тем не менее иррациональный страх, и, если продумать всё как следует, он должен исчезнуть. А Ларкин ошибается, скажут они, не понимая по-настоящему, что подразумевает его же выражение «нечем думать». Без этого его видение действительно ужасает — как быть похороненным заживо или как перенести операцию, когда наркоз действует лишь наполовину: не даёт кричать, но позволяет чувствовать боль. Но если вы доверяете наркозу, тревожиться об этом безумие. И если вы действительно верите в небытие, столь же безумно тревожиться о смерти. Да, это вроде вечного наркоза. И если бы вы всё время хотели очнуться, это было бы бедой. Но вы не будете хотеть.

Подозрение вызовет и их объяснение горя. Согласимся: не следует смешивать положение умершего с положением оставшихся в живых; но если разумно горевать, когда кто-то умирает, то это, конечно, наводит на мысль, что смерть плоха для этого человека. Эпикурейцы, однако, оставляют место для горя и признают законность чувств сожаления, отчаяния, утраты. Но затем они настаивают, что утрата — наша. Подобно тому как во времена до реактивных самолётов и интернета было и естественно, и разумно испытывать такие чувства, если кто-то эмигрировал в Австралию, так и со смертью. В обоих расставаниях есть окончательность, и оставшимся нужно с этим примириться. Тот, кто поднимался на борт корабля, конечно, надеялся, что жизнь в новой стране будет для него хорошей. В отношении смерти такой надежды быть не может. Но, в отличие от Австралии, есть по крайней мере уверенность — если допустить небытие, — что это новое состояние не будет для него плохим. Если же, горюя, мы думаем, что умершие, может быть, сами что-то потеряли, может быть, им сейчас плохо, — то мы опять ошибаемся.

Другое возражение заставляет нас глубже задуматься о гедонизме. Испытывать удовольствие — хорошо. Испытывать боль — плохо. Но испытывать меньше удовольствия, чем прежде, тоже плохо. Может быть, это не испортит вам весь отпуск и найдутся занятия, но если первую неделю солнечно, а вторую идёт дождь, то количество получаемого вами удовольствия уменьшится. А это плохо. И, конечно, смерть плоха точно так же. Быть мёртвым не ощущается как плохое. Но смерть кладёт конец удовольствию и всему хорошему в жизни. Вот это в ней и плохо.

Но у эпикурейцев опять есть ответ. В обычном случае вы сознаёте, что удовольствия стало меньше, и это досадно или раздражает. По меньшей мере вы думаете, как жаль, что дождь всё идёт. И именно из-за таких чувств, такого сознания, мы и рассуждаем так о снижении удовольствия. Но после смерти, разумеется, всякое такое сознание отсутствует. И поэтому, хотя это область, свободная от удовольствия, и приходит она на смену тому,

что во многих случаях было хорошей жизнью, в смерти нет ничего плохого.

## Опыт

Всё это как будто наводит на мысль — возможно, уже возникшую, — что в своём взгляде на смерть эпикурейцы опираются на старую поговорку: чего не знаешь, то тебе не повредит. Но верна ли она на самом деле или это просто одна из тех вещей, которые люди говорят, не продумав как следует? Думаю, в ней что-то есть. Но если мы попытаемся выяснить, что именно, то, как я покажу, обнаружим первую слабость в позиции эпикурейцев.

Некоторые вещи, которых вы не знаете, могут вам повредить — потому ли, что вы узнаете о них позже, или потому, что узнаете об их последствиях. Вы не знаете и, может быть, никогда не узнаете, что я подмешал что-то в ваш напиток, но вы почувствуете головную боль, когда она придёт, и я, конечно, причинил вам вред. Но сравните это положение с другим.

*Обречённая.* Она молода, счастлива, успешна. У Стеллы, кажется, всё впереди. Она звезда на работе: её тексты каким-то образом неизменно удовлетворяют даже самых требовательных клиентов. Неудивительно, что для международных проектов в первую очередь выбирают её. На следующей неделе она летит в Рио. Беда лишь одна. У неё уже начинается болезнь, которая через три-четыре года наверняка её убьёт. Однако не убивает. Прежде чем появляются какие-либо симптомы, прежде чем кто-либо, включая врачей, хоть что-то заподозрил, она погибает в авиакатастрофе. Болезнь, которая имела бы опустошительные последствия, проживи Стелла дольше, из-за совершенно не связанного с ней несчастного случая фактически осталась ни с чем.

Было ли для Стеллы плохо иметь эту болезнь? Причинила ли она ей вред? Возможно, это один из тех вопросов, на которые нет однозначного ответа, но по крайней мере мы вполне можем понять человека, который скажет, что в таком случае ничего плохого не

произошло и вреда не было. Именно в таком случае, следовательно, мы можем признать поговорку верной.

Помогает ли это эпикурейскому взгляду на смерть? Немного, но его сторонники ошибаются, если думают, что случай с болезнью в точности соответствует случаю смерти. Ведь есть важное различие. Вся жизнь Стеллы, насколько она и другие это сознают, течёт в точности одинаково, есть у неё болезнь или нет. Из-за инфекции у неё не больше и не меньше удовольствий или боли, хороших или плохих времён. Для её опыта это не составляет вообще никакой разницы. Не то со смертью. Конечно, вы её не сознаёте, но смерть навсегда кладёт конец вашему опыту. Так что разница огромная.

Эпикурейцы могут настаивать, что эта огромная разница на самом деле не важна и что смерть причиняет вам не больше вреда, чем Стелле её болезнь. Они могут настаивать, что значение имеют только те различия, которые вы сознаёте или будете сознавать. Но почему им верить?

## Параллели

Другой способ подорвать позицию эпикурейцев — указать на некоторые противоречащие интуиции или надуманные стороны их взгляда. Это не докажет, что они неправы, ведь и надуманное может оказаться истинным, но это должно заставить их обороняться.

Прежде всего стоит подчеркнуть, что их взгляд в целом довольно трудно принять. Смерть не плоха. Разве это уже само по себе не нелепо? Так что мы не ищем здесь каких-то неприятных следствий позиции, которая, взятая сама по себе, кажется вполне разумной.

А кроме того, у этого взгляда есть некоторые любопытные следствия. Эпикурейцам приходится говорить, что для нас не только смерть не плоха, но не плохо и впасть в кому, из которой никогда не выйдешь, или в стойкое вегетативное состояние. Плохо, конечно, было бы, как при так называемом синдроме запертого

человека, казаться находящимся в коме и при этом всё время сознавать внешний мир. Несколько лет назад в таком положении оказался французский журналист Жан-Доминик Боби. Мы знаем об этом только потому, что он ещё мог моргать одним глазом, это в конце концов заметили, и на этой основе удалось восстановить общение. Плохо было бы и, из-за отчаяния по поводу потерянных лет, пробыть в коме десять лет и потом наконец очнуться. И это плохо для родственников. Но подумайте только о человеке в настоящей, глубокой и необратимой коме. Как и при смерти, нет ни сознания, ни ощущений, ни удовольствия, ни боли. Значит, как и смерть, по эпикурейскому взгляду, кома не может быть плохой для этого человека. Кто-то может подумать, что я здесь неверно понимаю эпикурейцев: ведь они, по-видимому, хотят делать упор на утверждении, что мёртвые не существуют, тогда как находящиеся в коме определённо существуют. Но я уверен, что основной вес их аргумента несёт отсутствие ощущений, психическое несуществование, а не исчезновение тела (которое, в конце концов, в большинстве случаев происходит лишь постепенно). И поэтому они будут столь же равнодушны к коме, как к смерти.

Но это странно. Допустим, ваша сестра в коме, а вы могли бы, если бы захотели, каким-то образом её оживить. Если вы это сделаете, она вернётся к обычной жизни без всяких вредных последствий. Если нет — она останется в коме тридцать лет, а потом умрёт. Думаю, вам показалось бы диким, если бы кто-то сказал, что вам, право же, следует оставить её в покое, поскольку в вечной коме нет ничего плохого, а вот в коме, которая кончается, есть. Но если есть основание вывести её из комы, и чем скорее, тем лучше, то есть и основание, если можете, вообще не допустить, чтобы она впала в кому. А если это так, то в равной мере есть основания избегать смерти.

Вот ещё одно. Если эпикурейцы правы и в смерти не может быть ничего плохого, то в ней не может быть и ничего хорошего. Если всегда иррационально бояться смерти или избегать её, то

иррационально и принимать её, приветствовать её. Но в это трудно поверить. Многие думают, что в некоторых обстоятельствах лучше умереть, чем жить. Мы можем так думать о раненых животных, когда прекращаем их мучения. И даже если есть сомнения насчёт эвтаназии, трудно не думать, что нынешняя боль вместе с видами на будущее могут быть таковы, что прекращение чьей-то жизни лучше, и лучше для него самого, чем её продолжение. Но по эпикурейскому взгляду такие мысли должны быть путаными. Вы думаете, что следует пристрелить лису, которую рвут собаки? Подходит эпикуреец и говорит вам не тратить патрон. Поскольку смерть — ничто, лисе не может быть лучше мёртвой. Вы согласитесь, что, будучи мёртвой, она не почувствует себя лучше, не сознает, что боль кончилась, и не поблагодарит вас за то, что вы прекратили её жизнь. И всё же в этом положении не чувствовать лучше — и лучше для лисы, — чем чувствовать. Значит, умереть может быть лучше, чем жить. Но, конечно, если это так, то в равной мере умереть может быть хуже, чем жить. И поэтому эпикурейский взгляд, настаивающий, что смерть не плоха, должен быть ошибочным.

Эпикурейцы могли бы просто упереться. Они могли бы просто настаивать, что ни в смерти, ни в коме нет ничего плохого, как и ничего хорошего. Они могли бы настаивать, что просто невозможно сравнивать состояния, в которых мы сознаём или будем сознавать вещи, включая самих себя, с состояниями, в которых не сознаём и не будем. Это один выход. Другой — пойти на некоторые уступки. Так, возможно, эпикурейцы теперь предложат следующее различение: такие состояния, как смерть или кома, действительно могут быть хуже или лучше жизни, но сами по себе они не могут быть ни хорошими, ни плохими. У таких состояний может быть относительная ценность, но не может быть никакой абсолютной.

Имеет ли это смысл? Думаю, в известном роде имеет. Мы можем согласиться, что, взятое само по себе, состояние смерти или комы ни хорошо, ни плохо и что с человеком в таком состоянии ничего хорошего или плохого не происходит. Но согласиться с этим

— значит просто согласиться с давно признанным: что смерть, если допустить, что это небытие, не будет связана с хорошими или плохими чувствами, ощущениями или переживаниями. Ничего нового здесь нет. А если эпикурейцы готовы уступить и в следующем пункте и согласиться, что, будучи мёртвым, можно оказаться в лучшем или худшем положении, то они уступили в главном. Ведь между ними и их противниками больше нет важного различия. Подумайте о человеке, у которого маленький дом, жена, маленький ребёнок. Это не плохая жизнь. Но в прошлом году он потерял почти все деньги, когда его дело прогорело, и двоих старших детей, когда врезался в грузовик на автомагистрали. Это худшая жизнь. И даже если ваше положение само по себе не плохо, плохо оказаться в гораздо худшем положении, чем было. Есть основания избегать заранее и сожалеть потом о любом существенном ухудшении своей судьбы.

## Смерть и лишение

Если, будучи мёртвым, можно оказаться в худшем положении, то есть основания избегать опасных для жизни ситуаций, основания сожалеть о смерти, основания горевать о потерянных жизнях, основания тревожиться о том, что скоро можешь умереть, и так далее. Это всё, чего кто-либо хотел. Всё, чего кто-либо хотел, можно, следовательно, выразить в так называемой концепции лишения — взгляде, что смерть плоха не из-за каких-то положительных качеств (ведь небытие само по себе не имеет никаких качеств ни в ту, ни в другую сторону), а из-за того, чего она нас лишает. Именно потому, что смерть часто кладёт конец хорошей жизни, умереть часто плохо. Так что Эпикур ошибается, сосредоточиваясь только на внутренних качествах смерти, небытия, и упуская из виду всё решающее отношение к жизни, которую она обрывает. И заметьте, что теперь можно ответить Лукрецию, когда он доказывает, что раз небытие до рождения не плохо, то не плохо и небытие после смерти. Можно согласиться, что, взятые сами по

себе, эти состояния одинаковы и нейтральны по ценности. Тем не менее смерть часто лишает нас хорошей жизни, тогда как о несуществовании до рождения ничего подобного сказать нельзя. Так что они всё-таки существенно различны.

Концепция лишения может показаться простой, но на самом деле в ней есть различные подробности, требующие дальнейшего размышления. Большую их часть я отложу до следующей главы. Сейчас я хочу рассмотреть лишь один пункт, который, по-видимому, вытекает из концепции лишения, но с которым многие из нас всё же не будут согласны.

*Праздник.* Клэрри болеет уже много месяцев. Конечно, никто толком не знает, с чего это началось, но некоторые говорят, что, вероятно, виноваты те смеси, которыми много лет назад пользовались на ферме, когда она была ещё девочкой. Большинство из них с тех пор запрещены. Но с прошлым ничего не поделаешь. С будущим тоже мало что. Врачи согласны: положение безнадёжно, это лишь вопрос времени. И с каждым днём боль, кажется, усиливается. Это ужасно, и все надеются на конец. Он наступает во вторник, вскоре после семи. Вся семья рядом. И как они реагируют? Утирают слёзы, включают музыку, открывают шампанское и празднуют.

Но люди так не реагируют. Какой бы плохой ни была жизнь, мы не можем просто радоваться, когда умирает дорогой нам человек. Есть, конечно, облегчение оттого, что всё кончилось, и мы вполне можем думать, что ей лучше умереть, учитывая, как всё было под конец.

Значит, в концепции лишения всё ещё что-то не совсем верно. Мы, по-видимому, не думаем, что смерть сама по себе нейтральна и получает свою ценность, какова бы она ни была, от жизни, которую обрывает. Мы, конечно, считаем её злом, когда она обрывает хорошую жизнь, но на самом деле не считаем её благом, когда она обрывает плохую. Большинству из нас она по-прежнему кажется злом в любом случае. Может ли это быть верным?

Может показаться, что может, но, думаю, это нелегко внятно объяснить. Смерть, может быть, лучше жизни в мучениях, но она не лучше хорошей жизни. И мы можем думать, что в жизни в мучениях нет ничего абсолютно неизбежного. Клэрри могла и не заболеть. Ребёнок, родившийся с тяжёлыми увечьями, мог бы вместо этого быть совершенно здоровым. И жаль, что у этих людей не было вместо этого хорошей жизни от начала до конца. Так что хотя смерть для Клэрри лучше той жизни, которая у неё была на самом деле, она всё же гораздо хуже той жизни, которая могла бы у неё быть. И когда мы естественным образом противимся мысли, что смерть — благо, это, вероятно, потому, что мы имеем в виду эту альтернативную, лучшую жизнь. Умереть иногда лучше, чем жить, но это всегда плохо, поскольку всегда исключает, задёргивает занавесом ту хорошую жизнь, которая могла бы быть.

Но это не вполне удовлетворительно. Во-первых, «могла бы быть» употреблено здесь в очень слабом смысле. Мы уже согласились, что её положение было безнадёжным. Не то чтобы могло случиться чудесное исцеление. Во-вторых, и это важнее, такой довод, по-видимому, режет в обе стороны. Человек живёт хорошей жизнью. Мы не думаем, что в его смерти есть что-то хорошее, потому что его жизнь могла бы быть плохой, могла бы не стоить того, чтобы её жить, а смерть исключает возможность такой жизни. Итак, не вполне удовлетворительно, но это лучшее, что я могу здесь предложить.

## Плохо ли умереть?

Трудно не думать, что эпикурейцы что-то нащупали. В конце концов, многое из того, что они говорят о смерти, по мнению многих из нас, истинно, и истинно в важном смысле. В смерти нет ни боли, ни разочарования, ни сожаления. И, в отличие от наркоза и наркотиков, за это забвение не придётся расплачиваться в будущем. Так что верно: быть мёртвым не будет ощущаться как плохое. Правда, верно и то, что, пока мы живы, будущее для нас

важно; верно, что мы строим планы — и как люди нуждаемся в планах, — чтобы придать жизни какую-то форму. И многое в нашей заботе об этой форме совершенно разумно. Здесь можно различить две вещи. Во-первых, просто исходя из того, что мы будем живы в будущем, разумно уже сейчас предпринимать шаги, чтобы это будущее было достаточно приятным. Так что разумно подумать о покупках на следующую неделю, починить протекающую крышу до зимы, может быть, даже продолжать делать пенсионные взносы. Всё это разумно, если исходить из того, что вы будете жить дальше. Но, во-вторых, весьма вероятно, есть основания уже сейчас хотеть жить дальше. Вам очень хочется закончить свою вторую симфонию, увидеть, как разрастётся сад, взойти на все шотландские «манро». Подобные желания дают вам основание уже сейчас оставаться в живых, заниматься спортом, сносно питаться, держаться подальше от автобусов. Если бы вы внезапно умерли, вы не смогли бы сделать того, чего так хотите, — того, что придаёт вашей жизни форму и смысл. Отсюда — зло смерти. Но ведь если бы вы умерли, исчезли бы не только ваша жизнь и её форма, но и эти желания. А когда таким образом всё исчезает разом, иногда бывает трудно понять, что же в этом плохого.

Так плоха смерть или нет? Вот в чём вопрос, но дать на него твёрдый ответ нелегко. Один вариант — согласиться с эпикурейцами и думать, что смерть вовсе не плоха. Ваше положение не может быть плохим, когда ощущения кончились. Другой — последовать концепции лишения, допустить, что смерть плоха, но признать, что плоха она решительно нестандартным образом. Хотя само по себе состояние смерти нам не вредит, плохо, если наша жизнь — допустим, более или менее хорошая — обрывается, пройдя лишь часть пути.

Было бы лучше, однако, если бы смерть здесь не стояла совсем особняком, если бы были и другие вещи, которые, как мы можем согласиться, плохи, даже если из-за них никто не чувствует себя плохо. Есть ли такие вещи? Мы подумали о коме — жизни без ощущений. Но она существенно не укрепляет довода в пользу того,

что смерть — зло: эпикурейцы, скорее всего, отвергнут и этот случай. Может быть, есть другие примеры? Некоторые думают, что было бы плохо, если бы были уничтожены великие произведения искусства или великие творения природы, даже если бы никто из нас никогда не пожалел об этом уничтожении и последовавшей утрате. Представьте, что Тициан в пору своего расцвета написал ещё больше прекрасных полотен, чем у нас есть сейчас, но затем, будучи перфекционистом и человеком настроения, уничтожил их, прежде чем кто-либо успел их увидеть. Или представьте ядерную войну. Наш вид исчезает первым. А за нами соловьи и киты. Ещё позже рушится Венеция, пересыхают реки и водопады, а пыль и облака кладут конец закатам. Некоторые думают, что такие утраты были бы злом, даже если никто и ничто не переживает их как зло. Если вы склонны согласиться, склонны отвергнуть гедонизм, вы скорее сочтёте человеческую смерть злом, даже когда её никто не переживает. Но вы можете относиться к таким случаям с подозрением и всё же быть уверены, что смерть — зло. Ибо, повторю, хотя мы не переживаем свою смерть, она, обрывая наш опыт, вносит в него огромную разницу. Другие случаи, касающиеся искусства и природы, нашего опыта не затрагивают. Так что если о смерти мы можем настаивать, что она, даже не будучи пережитой, — зло для кого-то, то об искусстве и природе нам, по-видимому, не остаётся ничего иного, как говорить о зле самом по себе. И для многих эти различия достаточно велики, чтобы утверждение о зле смерти выглядело надёжнее. Так что опять-таки утверждение, что смерть — зло, вряд ли получит от этих дополнительных случаев много полезной поддержки.

Тем не менее этот второй вариант — что смерть плоха, но плоха нестандартным образом — я склонен считать верным. Но, конечно, если кто-то настаивает на эпикурейском взгляде, проще счесть его чудаком, чем доказать, что он неправ.

*Глава 4*

# Какие смерти хуже?

> *Нет ничего, о чём я желал бы узнавать больше, чем о смерти людей: то есть какие слова, какое выражение лица, какой вид являют они при смерти… Будь я сочинителем книг, я составил бы сборник с комментариями о различных смертях, который, уча людей умирать, учил бы их вместе с тем и жить.*
>
> (Монтень, «Опыты»)

Посмотрите на некоторые гравюры Дюрера, прочитайте стихи Джона Донна, посетите катакомбы в Риме — и перед вами предстанет видение смерти: мрачной, ужасной, великой уравнительницы, участи, ожидающей нас всех. Но правы ли мы, думая о смерти таким образом? Или, поддаваясь такому видению, мы упускаем из виду что-то из сложности и разнообразия смерти, её оттенков и меняющейся ценности?

Есть две плохие причины думать, что все смерти равны. Допустим, вы думаете, что смерть не только плоха, не только ужасна, но и худшее, что может случиться с человеком. Тогда вы, весьма вероятно, подумаете, что никакая смерть не может быть хуже другой. Ведь если каждая смерть — худшее, что может случиться с человеком, как некоторые смерти могут быть хуже? Или допустим, вы думаете, что, хотя жизни различны, смерти все одинаковы. Смерть есть небытие навсегда — и именно это в каждом случае. Отсюда и уравнительница. Когда мы мертвы, между нами нет разницы. И, учитывая эту ровность, это однообразие смерти, вы можете подумать, что, как бы плоха ни была смерть, просто нет ничего, что делало бы одну смерть хуже другой.

Обе причины, по-моему, плохи, но по-разному. Первая ошибочна с самого начала: смерть — не худшее, что может быть. Она не хуже бесконечной пытки. Заметьте также, что моё «худшее» может не совпадать в точности с вашим. Вторая же ошибочна дальше. Хотя в смерти нет разнообразия, не следует думать, что смерти одинаково плохи. И действительно, довольно ясно, что большинство людей так не думают и часто считают, например, что умереть в глубокой старости менее плохо, чем быть сражённым в расцвете сил. Подумайте о королеве-матери и о принцессе Диане. Или, когда возраст одинаков, мы склонны думать, что смерть неизлечимо больного, испытывающего сильную боль, менее плоха, чем смерть здорового человека.

Концепция лишения согласуется здесь с нашими интуициями. Мы думаем, что смерти не одинаково плохи. И эта концепция согласна. Мы думаем, что более ранние смерти хуже, и что хуже также те, которые обрывают хорошую, а не менее хорошую жизнь. И концепция лишения это поддерживает, утверждая, что зло смерти зависит от жизни, которую она отнимает. Так что путь вперёд есть. Двое людей, оба незнакомые, в опасности. Но кого спасти? Что делает одну смерть хуже другой? Всё просто. Как объясняет концепция лишения, чем больше теряешь, тем хуже. Но так ли это просто, как звучит? И верно ли это? Есть ряд загадок о том, какие смерти хуже, и ряд моментов, в которых концепцию лишения нужно прояснить и уточнить.

## Цельная жизнь

Мы думаем, что в целом чем раньше умираешь, тем больше теряешь. Значит, более ранняя смерть хуже. Но как быть с младенцами? Хотя большинство из нас согласны с общим положением, мы довольно сильно расходимся в том, насколько плохо, когда умирают младенцы или совсем маленькие дети или когда у женщины случается выкидыш. Одни думают, что юные жизни драгоценнее всех, а другие находят смерть младенца менее

горестной, легче переносимой, легче преодолимой, чем смерть кого-то постарше. Может показаться, что первая из этих реакций лучше и больше согласуется с концепцией лишения. Ведь если зло смерти зависит не столько от прошлого, от жизни, которую она обрывает, сколько от будущего, от жизни, которой она не даёт состояться, то более ранняя смерть всегда должна быть хуже. В целом, и это очевидно, чем ты моложе, тем больше у тебя впереди. Значит, чем раньше смерть, тем больше утрата.

Но есть и другой взгляд на это, поддерживающий вторую, и, пожалуй, более обычную реакцию — что смерть младенца в некотором важном отношении менее плоха, чем смерть кого-то постарше. Представьте автокатастрофу. Дети погибают, а родители выживают. Одной из детей, Алисе, 17 лет; её любят в школе, она играет на бас-гитаре в рок-группе, предвкушает год перерыва, путешествия, а затем университет и карьеру в медицине. Другому, Бену, 15 месяцев, он только начинает говорить. Одно различие между ними в том, что будущее Бена довольно открыто, а будущее Алисы уже в нескольких отношениях намечено. Поскольку мы знаем, что именно будет потеряно, кажется естественным больше об этом тревожиться. Но это ещё не всё. Представьте, что мы знали бы, что позже ждёт Бена. Дальнейшее различие в том, что Алиса сама уже предвкушает это будущее и строит на него планы, уже вложилась в эту предстоящую жизнь и связала себя с ней. Это то, чего она хочет. Бен же едва ли способен думать дальше следующего кормления. Он даже не понимает, что у него есть более отдалённое будущее, а тем более не способен думать о его форме и решать, какой она будет. В этом смысле окончание его жизни, как бы хороша она ни была, не представляет утраты для него самого.

Хотя маленьким детям умирать плохо, мы, следовательно, можем с основанием думать, что это менее плохо, чем такая же смерть для ребёнка постарше или взрослого. Почему? Потому что в их жизни нет той же степени психологической связности, или цельности. Нет той же степени самосознания, заботы о себе или — и это связанный момент — осознания других и их забот, или, опять-

таки связанное, осознания времени, и в частности осознания собственного прошлого и будущего и интереса к ним, к тому, как сегодняшние решения принесут плоды потом. По этим причинам мы можем, и с полным основанием, меньше сожалеть о смерти младенца, чем о смерти взрослого, хотя у младенца впереди больше хороших лет.

Это соображение о цельности имеет отношение и к нашим реакциям на смерть людей с болезнью Альцгеймера и родственными дегенеративными заболеваниями — вспомните не только Айрис Мёрдок, но и Рональда Рейгана и Бернарда Левина. Память, сосредоточенность, поведение — всё сильно поражено, и чем дальше заходит болезнь, тем меньше связей между нынешней жизнью и жизнью в прошлом. А сама нынешняя жизнь раздроблена и со временем становится всё менее осмысленной — и для больного, и для тех, кто по личным или профессиональным причинам вынужден наблюдать за её течением. Итак, рассмотрим двух людей, обоим по 80, один с болезнью Альцгеймера, другой здоров. Допустим, у обоих впереди пять лет. Но смерть больного Альцгеймером менее плоха, чем смерть человека, чей мозг продолжает нормально работать.

Жизнь Бена, жизнь младенца, раздроблена сейчас. При болезни Альцгеймера и подобных болезнях эта раздробленность часто ещё впереди. Если Бен умрёт, будет потеряна стоящая жизнь, но в важном смысле это не утрата для него. Если умрёт человек, у которого развивается болезнь Альцгеймера, то будет потеряна стоящая жизнь, но из-за болезни она была бы потеряна и так.

Стоит рассмотреть ещё один, иной случай. Многие из нас от природы склонны — или сентиментально воспитаны — считать смерть животных во многих случаях злом. Мы горюем о смерти домашних питомцев, не на жизнь, а на смерть боремся против охоты на лис и доходим до смешного, как я, чтобы поймать, а затем выпустить мышей, вместо того чтобы их убить. Но хотя в их способе умирать часто есть что-то жалкое и мучительное и о боли мы правы беспокоиться, нужно спросить, плоха ли внезапная и

безболезненная смерть для самого животного. Человеческая смерть плоха постольку, поскольку теряется цельная, связная жизнь, но у животных такая цельность изначально никогда не возможна в полной мере. Так что, возможно, для них умереть вообще никогда не плохо. Многие согласятся с этим применительно к некоторым менее сложным формам жизни. Трудно поверить, например, что в устрицах много что происходит, и, как в случае анэнцефалов, трудно понять, как быстрая смерть может быть для них плохой. И, вероятно, будут сильные, возможно обоснованные, разногласия, когда речь пойдёт о случаях на другом конце спектра. У горилл, шимпанзе, орангутанов может быть душевная жизнь, существенно близкая к нашей. Но рассмотрим промежуточный случай — выдру или кенгуру. Есть ум, восприимчивость, отзывчивость. Но есть ли самосознание, хоть какое-то понимание прошлого и будущего? Большинство людей сомневаются. И если такие животные ни в каком ясном смысле не хотят жить дальше, если у них нет надежд на будущее, нет планов, которые их гибель оставит неосуществлёнными, то, думаю, неясно, как сама смерть может быть для них плохой.

Допустим, это верно. Даже тогда не следует быть слишком равнодушными к смерти животных. Рассмотрим:

*Человек и животное.* Акиро предстоит трудное решение. Он думал, что так бывает только в вестернах, но на рельсах в паре миль впереди действительно лежит кто-то привязанный. И, как в военном фильме, под мостом сложена и подготовлена куча динамита. Он может взорвать неуправляемый поезд и обречь на внезапную смерть пятьсот ослов в вагонах, а может позволить ему ехать дальше, переехать того, кто там лежит, и остановиться на следующем подъёме. Времени на раздумье мало. Что ему делать?

Некоторые думают, что здесь нет вопроса: какими бы умоляющими ни были большие глаза и печальные морды ослов, люди всегда на первом месте. Но я думаю, что здесь нужны вопросы. Допустим сначала, что сказанное мною выше вас не убедило и вы считаете, что умирать для животных плохо. Вы просто

думаете, что человеческие смерти весят больше. Что ж, может быть, один человек стоит пятисот ослов, но если и то и другое чего-то стоит, то, по-видимому, должно быть некое число смертей животных, которое перевешивает одну человеческую смерть. Может быть, тысяча ослов или миллион. Допустим же, вы согласны со мной и думаете, что внезапная смерть для животных не плоха. Даже тогда неясно, что человеческая жизнь всегда должна быть на первом месте. Ведь смерть животного вполне может быть плохой в других отношениях. Она может быть плохой для других животных, особенно для потомства, оставшегося без защиты. И она может быть плохой для людей. Есть владелец ослов, есть множество любителей ослов — все они потеряют, если эти животные погибнут. И это, конечно, нужно принять во внимание. Ничего не даст и допущение, что человеческая жизнь обладает бесконечной ценностью, так что, даже если животные чего-то стоят, один из нас перевешивает любое их число. Едва ли кто-нибудь верит в это о человеческой жизни, ведь едва ли кто-нибудь думает, что мы всегда должны ставить человеческую жизнь выше человеческого благосостояния, благополучия или счастья. Едва ли кто-нибудь думает, что мы должны вкладывать все деньги в здравоохранение и ничего — в пиццу, отпуск или школы.

Есть один момент относительно цельной или связной жизни, который, возможно, всё ещё нужно прояснить. Он связан с различением, которое я провёл выше, между связями внутри одной части жизни, с одной стороны, и связями между разными её частями, с другой. Важно и то и другое. В одних случаях смерть не плоха потому, что жизнь — по ту или по эту сторону рубежа — не вполне цельна. Но в других цельность есть по обе стороны рубежа, но не через него. Рассмотрим:

*Чудесное исцеление?* У Кваме опухоль мозга. Без лечения он умрёт, вероятно, в следующем году, самое большее через полтора года. Возможна операция, но она рискованна, и даже если он выживет, он вполне может остаться полуинвалидом. Но теперь появилось новое лечение — лекарственная терапия, которая более

или менее гарантированно полностью избавит от опухоли, устранит всякую угрозу не только смерти, но и какого-либо физического увечья. С психикой, однако, дело обстоит иначе. Хотя он будет по меньшей мере столь же бодр, способен и деятелен, как прежде, у Кваме, вероятно, произойдут значительные и внезапные изменения личности. Он может обнаружить не только, что больше не подходит для своей работы, — у него могут появиться новые друзья, новые политические взгляды, иное чувство юмора. Он станет, в некотором привычном смысле, другим человеком.

Следует ли ему согласиться на это лечение? Многие из нас подумают, что нет. Мы хотим, чтобы продолжалась наша собственная жизнь, а не чтобы была какая-то жизнь, сколь угодно хорошая, начинающаяся там, где кончается наша. А в случае Кваме именно это в некотором смысле и происходит. Могло бы быть хуже. Я не говорил, что лекарство затрагивает его память, так что можно допустить, что после операции он помнит, что делал прежде. Помнит он и то, что надеялся сделать, если операция пройдёт успешно. Но теперь он обнаруживает и что эти планы для него ничего не значат, и что, оглядываясь назад, не может отождествить себя и соотнести себя с тем человеком, каким, как он знает, когда-то был. Так что если сейчас Кваме может предвидеть, что так изменится, он вполне может отказаться от лечения и вместо этого как можно лучше распорядиться оставшимся временем. Для него плохо умереть, но плохо и превратиться в кого-то другого, стать человеком, о котором сейчас он не может особенно заботиться.

Иногда в подобных положениях у людей нет выбора. Тех, кто психически болен или считается таковым, часто подвергают «лечению», которое приводит к значительным изменениям поведения. Единственное, что было исключительного в случае актрисы Фрэнсис Фармер и в переменах, вызванных у неё лобной лоботомией, — это степень её известности. Но превращение живой и умной, пусть и плохо приспособленной к обществу, молодой женщины в вялое, туго соображающее, но послушное существо не было чем-то необычным. Особенно в США тысячи людей

подверглись подобному лечению против своей воли и с подобными результатами. Даже если после этого жизнь всё ещё стоит того, чтобы жить, степень перемены вместе с тем, что она навязана силой, такова, что порождает серьёзные сомнения: лучше ли эта стоящая жизнь для оперируемого человека хоть в чём-то, чем смерть.

## Более долгая жизнь

Мы думаем, что смерть королевы-матери была гораздо менее плохой, чем смерть принцессы Дианы, потому что она была гораздо старше. У неё за спиной было гораздо больше лет, а впереди — так мало. Так что, умерев тогда, когда умерла, она потеряла очень мало. Но нет ли в этом чего-то странного? Мы как будто говорим, что её смерть не особенно плоха, потому что умереть примерно в это время более или менее неизбежно. Но разве это не плохо? Разве не плохо, что жизнь коротка и что всякий, доживший до ста лет, уже прожил гораздо больше, чем мог ожидать?

Некоторые так думали. Смерть в старости, может быть, гораздо обычнее, чем смерть в расцвете сил, но, как говорится, это само по себе не может помешать ей быть большим злом. Представьте, что мы жили бы по 500 лет. Смерть в 30 хуже смерти в 100, но уже ненамного. Мы не живём по 500 лет, но об этом самом мы и можем очень сожалеть.

Здесь нужно разобраться в нескольких вещах. Одна связана с различением между смертью вообще и отдельными смертями. Мы можем думать, что конкретная смерть королевы-матери в такой-то день была не так уж плоха, учитывая очень высокую вероятность того, что она скоро умрёт в любом случае, но всё же смерть вообще, сам факт, что она скоро умрёт, — зло. Или представьте Джеймса, 30 лет, убитого упавшим деревом. При вскрытии обнаруживают, что сердце у него было почти никуда не годным и он всё равно скоро умер бы. Его конкретная смерть отнимает у него лишь недели или месяцы и поэтому, согласно концепции лишения, не особенно

плоха, но плохо то, что ему, так или иначе, было суждено умереть молодым.

Другой вопрос касается неизбежности смерти. Допустим сначала, что смерть около ста лет, если не раньше, в одном смысле неизбежна. Мы просто не можем жить дольше, чем живём. Но как неизбежность не помешала бы боли быть злом — допустим, у каждого в юности бывает мучительная зубная боль, — так и со смертью. Этот факт сам по себе не лишит смерть её жала. Но допустим, что, как кажется вероятным, мы могли бы жить гораздо дольше. Представьте, что в конце этого века или в начале следующего учёные действительно найдут способы улучшить наше здоровье и примерно удвоить продолжительность жизни. Мы могли бы жить дольше и жили бы, если бы эта наука существовала сейчас. Но её нет. Следует ли думать, что в будущем смерть в 80 будет серьёзным злом, как смерть в 40 сейчас, а в настоящее время смерть в 80, более или менее неизбежная, вовсе не плоха? Подумайте вот о чём.

*Чахоточные.* По всей викторианской Англии одна и та же история. Она пронизывает и жизнь, и литературу. Начинаешь кашлять — и смерть довольно скоро более или менее неизбежна. Если ты богат, можешь пару лет прожить в горном санатории, и, может быть, разразишься целой чередой сонетов. Но это слабое возмещение за потерю жизни. Если бы только врачи тогда знали то, что знают теперь.

Заболеешь — и смерть близка. Но время имеет значение. Теперь это так легко вылечить. А тогда выздоровление было редкостью. Это, однако, ничуть не мешает преждевременной смерти быть злом. И то же, можно утверждать, со смертью в сто лет сейчас. Даже если лечение и средства от тех болезней, которые нас уносят, пока недоступны, всё же, если их откроют в будущем, наши смерти преждевременны. А преждевременные смерти — зло.

Следует ли нам согласиться тогда, что даже в сто лет смерть — зло и что между утратой Дианы и утратой Елизаветы разница лишь в степени? Довод ещё не завершён. Ибо есть ещё вопрос, связанный

с нашими ожиданиями. Одна из причин думать, что смерть в старости значительно менее плоха, чем преждевременная, в том, что люди обычно строят свою жизнь с оглядкой на смерть. Чем мы старше, тем ближе она надвигается, и мы соответственно устанавливаем свои цели, так что со временем неосуществлённых планов и замыслов остаётся всё меньше.

Это, конечно, согласуется с уже сделанными выше поправками к концепции лишения. Смерть тем менее плоха, чем менее цельны периоды жизни. И даже если, проживи я дольше, мне найдётся чем заняться, эти планы менее цельны, если сейчас, глядя вперёд, мне кажется, что жить осталось не для столь многого.

Здесь, однако, есть некоторая трудность. Дерево падает и на Джуди. Ей тоже 30, и ей тоже суждено скоро умереть. Но если Джеймс не знает о своей болезни сердца, то она уже год или больше знает о своей смертельной болезни. Последние несколько месяцев ушли на то, чтобы завершить начатое: закончить книгу, решить, кому достанется её коллекция дисков, в последний раз посмотреть старые фильмы с Богартом. Говорю ли я, что, по мере того как утекают надежды на будущее, уменьшается и зло её смерти и что, когда падает дерево, она теряет меньше, чем Джеймс? Думаю, я по меньшей мере это предполагаю, хотя по-прежнему плохо, что ей суждено умереть молодой и что из-за своей болезни она вынуждена ожидать от жизни гораздо меньшего, чем окружающие.

В итоге, следовательно, даже если в том, что наша жизнь всего лишь коротка, есть что-то плохое, мне кажется, что это зло отличается по роду, а не только по степени, от зла преждевременной и неожиданной смерти. И даже когда смерть ожидаема и к ней подготовились, смерть гораздо более ранняя, чем у ваших сверстников, плоха так, как не плоха смерть, более ранняя, чем у ваших потомков.

## Подъёмы и спады

Смерть, по-видимому, не такая уж загадка. Она плоха, когда жизнь, которой она нас лишает, была бы для нас хорошей, продолжай мы жить. И в целом, чем лучше эта жизнь, тем хуже умереть. И всё же в картине, какой она у нас пока сложилась, есть, пожалуй, что-то слишком упрощённое. И если мы подумаем о сложности жизни, в частности о её неровной форме, её взлётах и падениях, то, может быть, увидим, в чём это объяснение может и должно само стать сложнее. Подумайте сначала о том, что может произойти до нашей смерти. Рассмотрим:

*Незаслуженная участь*. Все они члены одного теннисного клуба, команды ветеранов, и сейчас празднуют с трудом добытую победу над соперниками с побережья. Шампанское хорошее, клубника тоже. Но устрицы заражены. Все трое в реанимации, у всех меньше сил сопротивляться, чем у молодых, и какое-то время исход неясен. Им всем по 60, и до этого у них были впереди ещё двадцать лет, и хороших лет. Но есть различия. У Билла жизнь была хорошей с начала до конца. Всё давалось ему легко, и ему ещё и везло. Крупная юридическая практика, интересные дела, семейная жизнь, которой многие завидуют. У Ноэля всего этого было гораздо меньше. Он был целеустремлён и почти сорок лет занимался медицинскими исследованиями. Сейчас он на пороге открытия и вскоре должен получить и признание, и вознаграждение, которых он, безусловно, заслуживает. Фрэнсис, опять же иной, так и не смог толком удержаться ни на какой работе. Что-то случилось в Корее — так, во всяком случае, рассказывают. Но, хотя он ещё не знает об этом, у него на руках выигрышный лотерейный билет. Его удача вот-вот переменится. Или переменилась бы, если бы не устрицы.

Ошибочно, как я сказал раньше, думать, что смерть Билла хуже потому, что до сих пор у него была лучшая жизнь. Всем троим есть ради чего жить. И если они не поправятся, они потеряют одинаковое по качеству и количеству хорошее в будущем. Но следует ли поэтому думать, что их смерти одинаково плохи? Или

мы можем подумать, что особенно плохо, если Ноэль и Фрэнсис умрут сейчас, учитывая, какой поворот к лучшему вот-вот произойдёт в их жизни? Разве не хуже упустить будущее, если оно составило бы такой отрадный контраст с прошлым? Разве Билл уже не получил больше своей доли удачи? И нет ли здесь, может быть, ещё одного различия? Хорошее будущее Ноэля, если он выживет, — следствие всех его усилий, всех его жертв в прошлом, тогда как у Фрэнсиса оно обязано везению, а не умелому ведению дел. Так что, может быть, мы подумаем, что из трёх смертей хуже всех была бы смерть Ноэля.

Есть и ещё одно соображение о неровности. «Скажите им, что у меня была чудесная жизнь» — знаменитые последние слова Витгенштейна, но он побывал в плену, сталкивался с различными действительными и воображаемыми неудачами в работе, без конца ссорился с коллегами и друзьями и страдал в конце жизни. Может быть, в целом его жизнь была хорошей, но не изо дня в день. Так у всех нас. И так же с нашей будущей жизнью. Но, может быть, это имеет отношение к злу смерти:

*Варианты*. На полпути через Атлантику угонщики грозят взорвать самолёт. Михаил думает, что сейчас умрёт, и рассуждает — справедливо, — что если выживет, то оставшаяся жизнь в целом будет хорошей. Но он летит в США не в отпуск, не по делам и не домой, а на долгую, трудную и мучительную операцию, которую больше нигде не делают. Боль будет сильной, но сравнительно недолгой — всего, может быть, шесть-семь дней. Однажды ему уже делали похожую операцию, и, хотя она прошла успешно, тогда это была мука. И мысль о повторении приводит его в ужас. Когда угонщики начинают действовать, он думает: лучше умереть сейчас, внезапно и без боли, чем пройти через всё это снова.

Ошибается ли Михаил, думая так? Это не очевидно. Некоторые сомневаются, что мы вообще можем здраво судить о качестве жизни или с каким-либо действительным основанием верить, что одна жизнь лучше другой. Но я в этом не сомневаюсь. Не сомневаюсь я и в том, что мы можем делать разумный и неразумный

выбор относительно своей будущей жизни: довольно ясно, что разумно выбрать на завтрашний ужин шоколадное мороженое, а не ванильное, если шоколадное — ваше любимое. Сложнее, когда речь идёт о разных моментах времени. Может быть, разумно предпочесть короткую боль сейчас более долгой в будущем — пять минут бормашины зубной боли на несколько дней в следующем году. Может быть, подобным же образом разумно отложить краткосрочные удовольствия сейчас ради более долгих удовольствий в будущем — забудьте о домашнем кинотеатре и подумайте о пенсионном фонде. Разумно, может быть, но многим из нас такие решения даются с трудом. Ещё труднее, думаю, когда замешаны и удовольствия, и боль. Допустим, если вы не пойдёте к зубному, то из-за чувствительности к холодному больше никогда не сможете наслаждаться мороженым. Вы от него откажетесь и будете довольствоваться эклерами. Итак, либо вы завтра терпите некоторую боль, либо до конца жизни получаете чуть меньше удовольствия. Допустим, вы согласны, что если пойдёте к зубному, то потом будете рады, что пошли. Доказывает ли это, что вы непременно ошибаетесь, если сейчас решаете, что боль слишком невыносима? Мне это не кажется ясным. А если это неясно в этом случае, то так же неясно и в случае Михаила, где боль дольше и сильнее. Даже если допустить, что он знает: если его вынудят согласиться на операцию, он через год не пожалеет об этом, — он, думаю, всё же может вполне разумно отказываться от неё сейчас. Так что смерть — нескончаемое забвение — может быть предпочтительнее боли, даже если потом будут восстановлены возмещающие её удовольствия.

## Опыт и вред

Вернёмся к одному моменту из предыдущей главы. Я предположил там, в качестве довода против эпикурейцев, что хотя смерть не есть нечто, что мы переживаем, она, кладя конец всему, вносит большую разницу в наш опыт. Нетрудно подумать, что

именно поэтому она плоха. И большая часть других соображений, высказанных здесь, касалась опыта: на нём основаны решения Кваме и Михаила; если смерть Ноэля хуже смерти Билла, то из-за разной формы их опыта; суждения о смертях королевских особ основаны в основном на потерянном опыте. Но как же быть с факторами, которые не вносят разницы в опыт? Могут ли они как-то влиять на зло смерти, делать одну смерть хуже другой? Здесь следует подумать, во-первых, о способе умирания, а во-вторых, о том, что происходит потом.

Если оставить в стороне разные виды боли, важно ли, как умирать? Было бы, например, хуже быть убитым, чем погибнуть от несчастного случая? Интуитивно кажется, что да. Подумайте, как мы реагируем, услышав об одном ребёнке, похищенном и убитом, и о другом, сбитом с велосипеда. Или о нутряной реакции на ужас насильственной смерти — когда человека расстреливают у бензоколонки или во время бойни в школе или закусочной. Но в таких случаях слишком много осложнений. Мы ненавидим преступника, мысленно возвращаемся к предшествовавшим событиям, забываем, что несчастные случаи тоже бывают насильственными. Поэтому представьте двоих в больнице, оба без сознания, оба должны поправиться, но обоим ввели смертельную дозу какого-то препарата. В случае Дерека это несчастный случай, оплошность медсестры, а Найджела убивает кузен, который должен унаследовать его состояние. Почти наверняка кузен хуже медсестры, но хуже ли смерть Найджела смерти Дерека только потому, что его убили?

Не думаю. И во многом потому, что я не уверен, как что-либо может быть плохим для кого-то или хуже для этого человека, чем что-то другое, если оно не вносит в его опыт никакой разницы. Опыт Найджела одинаков, каковы бы ни были мотивы убийцы. Так что, хотя убийство хуже небрежности, неясно, причиняет ли оно, по крайней мере жертве, больший вред.

Но если опыт — главное, то к злу вашей смерти не имеет отношения не только мотив вашего убийцы, но и разные вещи,

которые могут произойти потом. Иначе говоря, не может быть таких вещей, как посмертные блага или вред, при которых вам становится лучше или хуже через какое-то время после смерти. Но верно ли это?

Один трудный род случаев — нарушение обещания, данного у смертного одра. Кафка просил своего друга Макса Брода уничтожить его книги после смерти. Обещание было дано, но потом Брод передумал. Это было хорошо для нас — в результате у нас есть «Процесс», «Превращение», «Америка» и прочее, — но нет сомнения, что Брод нарушил слово. Но плохо ли это в каком-либо смысле для Кафки, причинён ли ему какой-то вред тем, что данное ему обещание не сдержано? Вопрос непростой. Одни настаивают, что обещания следует всегда сдерживать, другие говорят, что, хотя в целом это верно, есть исключения. И обещания у смертного одра сюда относятся. Первые скажут: если не собираешься сдержать — не обещай. Вторые ответят: главное — облегчить умирающему. Говори то, что нужно сказать. И так далее. Но, думаю, важно заметить, что можно встать на сторону первых, считая, что обещания следует всегда сдерживать, и не думать при этом, что всякий раз, когда они нарушаются, тому, кому обещали, каким-то образом причиняется вред.

Обещание — дело сложное и может замутить воду. Поэтому рассмотрим другой случай, где обещания нет, но всё равно выходит не так, как ожидалось.

*Дети.* Нелегко ставить принципы на первое место. Но он обнаружил, что у него нет выбора, что иначе он не сможет жить в ладу с собой, и когда началась гражданская война, он сделал всё, что мог, чтобы помочь восставшим. И позже, оказавшись во главе страны, он опять себя не щадил. Его единственной заботой было благо народа, его краткая земная жизнь и бессмертные души, и он умер, зная, что в руках сына дело его жизни в безопасности, его замыслы нетронуты. Увы, через пару лет монархия была восстановлена, а его видение лежало в руинах.

Во многом так было с Кромвелем в Англии, а затем снова, хотя и без сына, с Франко в Испании. Часто надежды, убеждения, дело всей жизни опрокидываются событиями. Если это происходит при вашей жизни, вы это сознаёте, и зло очевидно. Но может ли ваше положение, ваша судьба ухудшиться и после вашей смерти? Ваша репутация может пострадать, ваши надежды могут рухнуть, но может ли что-либо из этого быть плохим для вас? Или страдают только ваша репутация, ваши надежды?

Опять-таки я не уверен. Но думаю, что быть мёртвым, не существовать, не может составлять решающей разницы. Билл и Бен вместе создают успешное садоводческое дело. Во вторник они терпят кораблекрушение и, хотя на них нападают акулы, ухитряются выбраться на необитаемый остров. В среду Билл умирает от ран. В четверг их предприятие разоряется. Так и не узнав об этом, Бен умирает в воскресенье. Было бы странно проводить здесь различия и настаивать, что Бену, поскольку он существует, этот поворот судьбы причиняет вред, а Биллу, которого уже нет, — нет. Конечно, как бы то ни было, они в одной лодке. И я склонен думать, что ни тот ни другой не страдает и не терпит вреда от этих далёких событий.

Последний случай. В последнее время много волнений вызывает то, что происходит с телом после смерти. В частности, изъятие органов у умерших детей в больницах Бристоля и Олдер-Хей причинило родителям много горя, а медицинскому начальству — много неловкости. Выставки мёртвых людей, искусно представленных, с удалённой кожей и обнажёнными органами, — своего рода китчевый Везалий — вызвали немалые споры. Спорным было и убийство и последующее поедание якобы согласной на это жертвы в Германии. Некоторые гордятся тем, что относятся к таким вещам весьма трезво. Человек мёртв. Какая разница, что происходит потом? Другие приходят в ужас от того, что считают нарушением целостности тела. Но как нам смотреть на такие вещи? И этот вопрос очень важен: законов, запрещающих

обещания у смертного одра или посмертные повороты судьбы, не будет, а законы о теле необходимы, важны и всё ещё не устоялись.

Прежде всего ясно, что ваше тело может измениться после вашей смерти. Более того, оно изменится, похоронят ли вас, кремируют или заморозят. Ясно также, что оно может быть уничтожено. И многие сочтут ясным и то, что ему можно нанести повреждение или вред. А если это так, то в одном смысле посмертный вред возможен. Но, повреждая ваше тело или причиняя ему вред, причиняю ли я вред вам? Это, конечно, менее ясно. Может быть, здесь имеет значение согласие, и нельзя считать, что человеку причинён вред, если её тело, которое она хотела кремировать, превращено в пепел. Но даже если всё идёт не по плану и с вашим телом обращаются так, как вы бы не хотели, всё же неясно, причинён ли вред вам.

Оправдывает ли это, в таком случае, бессердечных? Нет. Табу коренятся глубоко. Интересно, что всего за несколько лет до немецкого случая злодей в фильме Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и её любовник» почти не может заставить себя съесть тело своей жертвы, хотя оно искусно приготовлено и хотя он как злодей уже вполне привык к жуткому. И, может быть, всем нам важно относиться к мёртвым с определённым уважением, даже допуская, что им не будет плохо, если этого уважения не будет. В чём будет состоять уважение? Отчасти в исполнении прижизненных желаний: если вы хотите, чтобы вас кремировали, а не похоронили, то, вероятно, лучше так и сделать. Но отчасти и в воспитании подобающего отношения, чтобы люди в целом желали пристойного. Вы хотите, чтобы ваше мёртвое тело использовали в какой-нибудь телевизионной комедии, или в порнографическом фильме, или оставили на корм собакам. Есть основания отказывать в таких просьбах. Но мы можем, думаю, иметь различные сложные и тонкие реакции на тела умерших, не думая, что сами умершие могут терпеть какой-либо посмертный вред.

## Какие смерти хуже?

Идея столь распространённая, долговечная и влиятельная, как то, что смерть — уравнительница, не вполне ошибочна. Для всех нас, и в равной мере, есть уничтожение, и впереди не ждёт ничего, кроме пепла, червей и праха. И всё же трудно отрицать, что одни смерти хуже других. Если все мы приводимся к одному уровню, но с разных исходных точек, если то, что мы теряем, умирая, от случая к случаю различно, то есть веское основание думать, что смерти не одинаково плохи. А концепция лишения хорошо подходит для объяснения этого меняющегося характера смерти.

И всё же концепция лишения не так проста, как кажется сначала. Недостаточно просто сказать, что чем больше количество и качество потерянной жизни, тем хуже смерть, и на этом остановиться. Нужно принять во внимание ряд дополнительных факторов. Есть вопрос, лучше или хуже эта будущая жизнь, пусть и хорошая, чем жизнь в прошлом. Есть вопрос, ожидаете ли вы радоваться этой будущей жизни или у вас уже есть основание думать, что время на исходе. И, что важнее всего, есть вопрос о связях между нынешней жизнью и той, которая будет прожита, если смерть не придёт. Ведь смерть не очевидно плоха для вас, если эта будущая жизнь будет плохо связана с той, что у вас сейчас, и потому в некотором смысле не будет по-настоящему вашей.

Нужно принять во внимание и другие вопросы. Многие думают, что смерть в конце долгой жизни лишь немногим менее плоха, чем ранняя, просто потому, что мы могли бы жить — или по меньшей мере могли бы желать — ещё дольше. Что ж, может быть, в этом что-то есть, но мне всё же кажется, что всякое зло смерти здесь существенно отличается от зла более обычного рода. И хотя обычно зло смерти связано с тем, что она обрывает нашу жизнь, а значит, и наш опыт, многие думают, что она может быть плохой — и в разных случаях по-разному плохой — так, что опыт остаётся незатронутым. Но само понятие посмертного вреда — нарушенных

обещаний, рухнувших надежд, надругательства над телом — кажется мне сомнительным.

Всё это важно, и очень. Здесь замешаны решения в реальном мире. Правительства при выработке политики, судьи в прецедентных делах и врачи в повседневной практике — все должны приходить к выводам о том, какие жизни спасать. Мы не можем верить, что все жизни одинаково ценны и все в равной мере притязают на спасение. Но, по-видимому, нет и простого способа проводить между ними различия. Нельзя просто умножить качество на количество и на этом остановиться. В этих решениях реального мира нужно учитывать и другие факторы, в том числе затраты и выгоды для других от спасения одной жизни, а не другой; вопросы заслуг — как когда бывшие курильщики просят дорогостоящего лечения и нуждаются в нём; и последствия для общества в целом такой политики, которая, если её не подать как следует, может показаться несправедливой. Сосредоточившись только на зле смерти для умирающего, мы здесь обошли эти дополнительные и усложняющие факторы. Если, ответив на более простой и узкий вопрос, мы и продвинулись, то путь ещё долог.

*Глава 5*

# Буду ли я жить дальше?

> *Когда спрашивают, живы ли ныне Агамемнон, Терсит, Ганнибал, Нерон и всякий глупый шут, когда-либо существовавший в Италии, Скифии, Бактрии или Гвинее, может ли кто-нибудь думать, что исследование природы доставит доводы, чтобы ответить на столь странный вопрос утвердительно?*
> (Дэвид Юм. «О бессмертии души»)

В субботнем журнале есть рубрика, где знаменитостям задают ряд вопросов: что им нравится и что не нравится, что они думают, о чём тревожатся. Один из вопросов — верят ли они в жизнь после смерти. Примерно половина верит. В Америке — и у знаменитостей, и у всех остальных — эта цифра выше, около четырёх из пяти. И эти верования важны. Гамлет не убивает Клавдия после исповеди, боясь, что тот попадёт на небеса. И небеса, и вера в то, что они туда попадут, обычно составляют часть побуждений террористов-смертников. Очень часто, конечно, на то, как люди ведут себя сейчас, влияет другое место — ужасы ада.

Есть ли в таких верованиях смысл? Думаю, по большей части есть. Но иметь смысл — одно, а быть истинным — другое. Хотя я думаю, что загробная жизнь могла бы быть, я сомневаюсь, что она на самом деле есть.

## Слабые варианты

И всё же разве не очевидно, что жизнь после смерти есть? Некоторые так думают. Они скажут, что мы живём дальше в мыслях других, в памяти детей и внуков или в умах тех, кто видит наши картины, читает наши книги или пользуется плодами жертв,

принесённых нами ради них. Или они обратятся к науке, настаивая, что никто из нас не уничтожается смертью полностью и что атомы, ДНК, а при пересадке органов, может быть, и более крупные части нас уцелеют. И, может быть, мы будем жить дальше многими способами. Дети помнят нас, хранят наши фотографии, наследуют наши гены, наши причуды.

Правда, такое бывает, даже если бывает не со всеми из нас сколько-нибудь значительно. Многие уходят из жизни без друзей, в одиночестве и едва оставляют после себя след. Ещё больше людей скоро забывают: их дневники не прочитаны, их семейные линии пресекаются через пару поколений. Лишь о немногих можно сказать, подобно Чингисхану, что они населили целую страну, или, подобно Юлию Цезарю, что знание об их жизни, вероятно, сохранится, пока существует наш вид. Но даже в таких случаях, в этой горстке крайностей, просто кажется неправильным полагать, что эти люди всё ещё живы или что они достигли бессмертия иначе как в метафорическом смысле. И заметьте, ни о чём другом мы бы так не говорили. Мы бы не сказали, что фреска сохранилась, пока остаются несколько фрагментов расписной штукатурки, что висячие сады Вавилона сохранились, потому что всё ещё есть люди, знающие, какими они были, или что гигантская секвойя сохранилась, когда её семя даёт новые деревья, которые сами станут гигантами через сто лет. Для всего прочего выживание, продолжение жизни, продолжение существования понимается, как правило, буквально. Так зачем предполагать что-то другое для людей?

Отчасти дело в том, что бывает трудно примириться с тем, что любимого человека больше нет или что мы сами слишком скоро уйдём. Истинна она или ложна, вера в буквальное выживание часто служит немалым утешением. А если такую веру становится всё труднее принять, следующим по качеству кажется выживание в каком-то ослабленном смысле. Поэтому особенно в христианской церкви, и в её более утончённых кругах в частности, всё чаще толкуют рассказы о жизни после смерти метафорически, отвергая

всякую веру в буквальные рай и ад, в буквальное воскресение и предполагая взамен, что мы живём дальше в умах других или что каким-то образом остаёмся драгоценными в очах Божиих. Так что, вместо того чтобы совсем отказаться от веры в загробную жизнь, эти современные христиане спасают из неё что могут, создавая более скромную, но и более защитимую концепцию выживания. Меня такие демифологизирующие ходы никогда не впечатляют. И я подозреваю, что большинство знаменитостей из моего журнала, говоря о жизни после смерти, имеют в виду нечто более буквальное.

Есть и другой путь, на котором ответ можно счесть очевидным. Вы в больнице, вам предстоит серьёзная операция. Пока вы под наркозом, сердце у вас останавливается — может быть, лишь на секунды, может быть, на минуты. Но врачам как-то удаётся снова его запустить и привести вас в себя. Значит, жизнь после смерти есть. Но хотя здесь ясно, что вы пережили операцию, совсем не ясно — более того, это просто ложно, — что вас вернули к жизни. Вовсе не верно, что всякий раз, когда у человека останавливается сердце, этот человек умирает.

Другой случай сложнее. Некоторые люди, большинство из них в Америке, заплатили много денег за то, чтобы их тела заморозили в надежде, что когда-нибудь в будущем учёные смогут вернуть их к жизни. Эти люди, вероятно, выбросили деньги на ветер. Ведь методы, необходимые для успеха криогеники, могут так и не быть отработаны, а если и будут, то вовлечённые компании вполне могут тем временем разориться. Но допустим, кого-то заморозили, а через сто лет разморозили и оживили. Доказало бы это, что жизнь после смерти всё-таки есть? Сомневаюсь. По-видимому, лучшая надежда криогеники — заморозить человека прежде, чем он по-настоящему умер, или по крайней мере прежде, чем начал разрушаться его мозг. И потому такой случай лучше всего описывать как анабиоз, а не как смерть и воскресение. Не сулит криогеника и надежды на существенно более долгую жизнь. Пока наши тела и мозг продолжают стареть, мы в конце концов умрём. Значит, всё, что она может предложить, — это отсрочка неизбежного.

Память, наследственность, сохранение частей — всё это входит в мир после смерти. Но этого, думаю, недостаточно, чтобы было правдой, что мы действительно живём дальше. Наука и мечты о ней могут позволить некоторым из нас пережить состояния, которые иначе были бы смертельными. Но всё же кажется надуманным полагать, что мы можем надеяться какими-либо научными или естественными средствами вновь жить после тех смертей — в автокатастрофах, при взрывах, после многих лет изнурительной болезни, — которые постигнут многих из нас. Ни одно из этих объяснений, похоже, не попадает в цель, когда речь идёт о большинстве разговоров о загробной жизни. Во что верят многие и что, безусловно, было бы глубоко важно, если бы было правдой, — это что все мы, прошлые, нынешние и будущие, умрём буквальной смертью и всё же каким-то образом буквально будем жить снова.

## Сильные варианты

Хорошо говорить о буквальном выживании, но что оно означает? Во что, собственно, верят люди? В разное. Многие верят в жизнь после смерти либо с телом, либо просто в виде души. Ещё больше людей верят в перевоплощение, при котором вы живёте снова, но в другом теле. Многие, хотя и не все из этих верований включают бессмертие: мы будем жить снова не недели, годы или столетия, а вечно.

Различия здесь важны. Поэтому нужно взять эти разные верования и рассмотреть их по отдельности.

## Телесный взгляд

Вот широко распространённый взгляд. Через какое-то время после смерти мы в каком-то смысле родимся заново. И, по этой мысли, в новой жизни у нас, как и сейчас, будет телесная форма. Как говорит апостол Павел — пусть и не вполне ясно:

> Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые

> воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечётся в нетление и смертное сие облечётся в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою». Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа? [1 Кор. 15:51–55]

Один важный вопрос здесь — сколько пройдёт времени, прежде чем совершится это воскресение. Многие христиане верят, что когда-нибудь в будущем, в Судный день, все мёртвые восстанут, а другие верят, что некое воскресение совершается для каждого из нас довольно скоро после смерти. Для мёртвых это, может быть, не так уж важно: если смерть — ничто, то промежуток между смертью и воскресением, сколь бы долгим он ни был, покажется не занявшим никакого времени. Но для ещё живущих разница будет. Ведь если воскресение более или менее мгновенно, есть некоторая надежда скоро снова увидеть умерших. А если в Судный день — придётся подождать.

Другой вопрос — о форме и облике воскрешённого тела. Согласно одному взгляду, у вас будет то же самое вещественное, из плоти тело, что и сейчас, согласно другому — воскрешённое тело будет существенно иным. Оба взгляда присутствуют в христианстве: Иисус, по-видимому, склонялся к первому, а апостол Павел, как в приведённом отрывке, настаивает, что наши новые тела будут значительно отличаться от старых.

Во что люди верят сейчас? Возьмём вещественное тело. Большинство людей считает, что то, что, как предполагается, произошло с Иисусом, было делом совершенно особым: мало кто из нас, если вообще кто-нибудь, ожидает полноценного телесного воскресения через несколько дней после смерти. Более того, этого, похоже, часто скорее боятся, чем на это надеются. Большинство рассказов о такого рода воскресении оказываются историями ужасов — историями о вампирах, зомби, — пронизанными мыслью, что всякий в таком состоянии был бы ни мёртвым, ни живым, а застрял бы, неуютно, в каком-то промежуточном состоянии. Даже когда воскресший человек не так страшен — а в фильме

«Призрачно, безумно, сильно» персонаж Алана Рикмана, вернувшийся из мёртвых, если не считать бледности, точно такой же, каким был при жизни, — общая мысль, похоже, такова, что держать рядом мёртвых в лучшем случае неудобно.

Иначе обстоит дело с менее вещественным телом. Викторианцы в особенности были весьма привержены спиритизму, при котором мёртвые не только могут говорить с нами через медиума, но и могут быть уговорены явиться в телесном облике. Такие тела, однако, тонки, бледны, призрачны — род эктоплазмы, которая будто бы плавает по комнате. Расцвет таких верований миновал, поскольку надежды подтвердить притязания спиритизма столь часто рушились, а взамен столь часто вскрывалось жульничество. Но вера в привидения остаётся, и многим по-прежнему не по себе в старом доме тёмной ночью.

## Философы и тело

Многие философы находили трудности в ортодоксальных концепциях воскресения, согласно которым спустя долгое время после смерти мы вновь живём в том же самом теле, в котором обитаем сейчас. Во-первых, наверняка будет трудно, даже для Бога, собрать воедино и заново составить все наши телесные части по прошествии стольких веков. Но для всемогущего Бога ничто не может быть слишком трудным, да и мы в любом случае можем помочь Ему, позаботившись о том — как настаивали иудеи, мусульмане и до недавнего времени христиане, — чтобы наши тела хоронили, а не сжигали и чтобы они по возможности оставались нетронутыми. Но верно ли это? Может ли всемогущий Бог сделать вообще всё?

*Людоеды.* Доктор Литлстоун никогда не рассчитывал, что будет легко. Будучи миссионером в Африке, он, разумеется, был вполне готов к неудачам, испытаниям и скорбям. Но его всегда поддерживало твёрдое знание, что, какова бы ни была его участь,

он со временем воскреснет и воссядет рядом со своим Христом. Поэтому сама смерть никогда его не страшила, и многочисленные, повторяющиеся опасности, с которыми он сталкивался в труде всей своей жизни, никогда не колебали его веры. У него было много приключений и много спасений. Но однажды, оказавшись один в глубине джунглей, он попадает в плен к людоедам; его притаскивают в их деревню, там тушат, приправляют и съедают.

Есть ли ещё какая-то надежда на его воскресение? Его тело не лежит в могиле, истлевающее, но целое, готовое к тому, чтобы Бог или Иисус вернули его к жизни. Не просто и разделено оно и рассеяно, так что собрать его труднее, но всё же возможно. Нет, части его тела теперь смешаны с телами людоедов. Допустим, через несколько дней после трапезы, когда эти его части полностью переварены, одного из людоедов съедает тигр. Кажется, Бог не может воскресить и Литлстоуна, и людоеда. Даже Бог не может поместить одни и те же атомы в два места одновременно, не может отдать определённые части тела и съевшему, и съеденному в Судный день.

Немногих из нас съедят людоеды, но мысль здесь совершенно общая. У всех нас в телах есть атомы, которые раньше, когда те умирали, были в телах других людей. Часть этих атомов, в свою очередь, раньше была в телах ещё более ранних людей. И так далее. Бог мог бы восстановить до последней йоты тело любого из нас. Но даже Бог не мог бы сделать это для всех нас.

Вот родственная проблема. Допустим, Бог собирает все атомы, которые были в теле Джона Леннона в момент, когда его убил Марк Чепмен. Он располагает эти атомы в должном порядке и, по-видимому, возвращает Леннона к жизни. Но Бог мог бы сделать и следующее: собрать все атомы, которые были в теле Леннона в какое-то более раннее время, скажем, когда он предложил публике на Королевском концерте 1963 года погреметь своими драгоценностями, и воскресить более молодого человека. Все атомы наших тел, естественно, сменяются за определённый период

времени, так что Бог легко мог бы создать оба собрания. Допустим, Он это делает. Который из этих людей — Джон Леннон?

Вы можете подумать, что ответ здесь прост. Бог должен воскрешать нас, воссоздавая тело таким, каким оно было в момент смерти. И потому Он выбирает более позднего Леннона. Но тогда возникает ещё одна проблема. Допустим, вы, как слишком многие люди, умираете насильственной смертью. Вас сжигают заживо или изувечивает автокатастрофа — или, как всё большее число людей, вы умираете мирно, но в очень преклонном возрасте, когда большая часть вашего тела уже не работает или когда, опустошённый болезнью, ваш разум угас. Воскресение именно этого тела, каким оно было в момент смерти, может показаться отнюдь не тем, на что стоит надеяться. В лучшем случае, по-видимому, вы будете серьёзно нетрудоспособны в грядущей жизни, а в худшем можно, кажется, ожидать лишь того, что вы более или менее сразу умрёте снова.

Реальны ли эти проблемы? Хотя некоторые думали, что они вскрывают серьёзные изъяны в понятии воскресения, доказывая, что это понятие в основе своей бессвязно, что такое просто не может произойти, мне они показывают самое большее то, что такое понятие не следует толковать совсем буквально. Кому важны отдельные атомы? Вы можете выжить с гораздо меньшим телом, чем у вас сейчас, с частями, заменёнными металлом и пластиком, и — по крайней мере со временем — при полной смене атомов, из которых сегодня состоит ваше тело. Так что, конечно, Бог может справиться и не с тождественными один к одному частями. Проблема людоедов кажется выдуманной философами, а не каким-либо реальным препятствием к загробной жизни. И с чего думать, что Бог хоть на мгновение задумается о двойном воскресении? Если бы Он это сделал, возникла бы проблема с решением, который из двоих — Леннон. Но как раз потому, что тогда возникла бы проблема, есть веское основание быть уверенным, что Он этого делать не стал бы. Есть основание думать и то, что всемогущий Бог

мог бы исправить любые телесные изъяны, разом устранив увечья, безумие, болезни, и воскресить нас, если пожелает, в расцвете сил.

Значит, в идее нашего воскресения к загробной жизни, конечно, нет серьёзных трудностей. Мы ведь рассматриваем здесь нечто сверхъестественное, нечто чудесное, и нет оснований думать, что мелочные логические задачки действительно могут тут помешать. И всё это касается лишь одного варианта — что мы вновь будем жить в теле, весьма похожем на нынешнее. Подумайте о другом варианте — теле, которое в некоторых отношениях похоже на наше, но сделано из другого, более тонкого, менее вещественного материала. Проблем будет ещё меньше.

## Кто есть кто?

Но, может быть, не стоит относиться к этому слишком благодушно. С воскресением есть ещё одна проблема, и на этот раз большая. Это проблема тождества. Допустим, мы готовы согласиться, что Богу не нужно использовать те самые атомы, которые были в вашем теле в момент смерти, — Он может использовать другой материал. Но тогда вопрос: что делает этого вновь созданного человека вами? И это, конечно, важный вопрос. Ведь многие из нас верят в то, что после смерти снова будем жить мы сами, а не в то, что начнёт существовать кто-то другой. Важно, чтобы этот новый человек был мной, воскресшим. А если допустить, что Бог может создать нового человека с нуля, у этой идеи появляется по меньшей мере зачаток трудности. Ведь что помешает этому новому человеку быть кем-то другим?

Вот лишь несколько предположений. Я просто высказываю их здесь и пока на этом останавливаюсь. Ведь эта проблема тождества всплывёт позже в этой главе, а затем ещё раз — в главе 7.

• Неважно, из чего сделан новый человек целиком, лишь бы некоторые части — может быть, мозг или части мозга — были сделаны из атомов, которые были в моём теле.

• Неважно, из чего сделан новый человек, лишь бы он или она выглядел(а) (более или менее) как я.

• Неважно, из чего сделан новый человек и как он или она выглядит, лишь бы он или она думал(а) и действовал(а) как я и помнил(а), что я делал.

Я не говорю, что какое-либо из этих предположений особенно удачно, хотя на самом деле думаю, что безнадёжно лишь одно из них. Но все они — того рода предположения, которые можно было бы выдвинуть в связи с этой проблемой тождества.

## Взгляд на душу

Многие думают, что загробная жизнь будет совсем не похожа на жизнь, какой мы её знаем сейчас. Дело не в том, чтобы иметь усовершенствованное или призрачное тело. Скорее, многие верят, что после смерти мы будем жить дальше вовсе без тела. Мы будем существовать просто как бестелесные души.

Хотя это, безусловно, основной христианский взгляд, он, по-видимому, не был взглядом Иисуса. Он появляется в христианстве позже, через соприкосновение с греками, а в греческой мысли, в свою очередь, возникает из религий Востока. Сократ, безусловно, понимал и изо всех сил старался убедить своих друзей и последователей, что после смерти он будет продолжать существовать просто как душа или ум, докучая другим душам своими вопросами, без необходимости прерываться на обед, поправлять тогу или даже спать по ночам. Он думал, что это будет хорошо. И эта мысль — что без тела нам будет лучше — не так уж необычна. Оно требует столько заботы и внимания, то и дело даёт сбои, донимает нас своими разнообразными аппетитами и требованиями. Отпустите его, освободите душу — и мы сможем наслаждаться чисто духовной жизнью, жизнью ума. Стоит заметить, однако, что такая жизнь, может быть, больше подошла бы философам и поэтам, чем танцорам, теннисным звёздам или

нимфоманкам. От их притязаний на тело и на то, что оно может, будет гораздо труднее отрешиться.

Это в общих чертах, но здесь нужно задать два вопроса. Во-первых, могут ли вообще существовать такие вещи, как души? Во-вторых, если мы зайдём так далеко, может ли какая-то из этих душ быть вами?

## Смысл в душах

Если идея души вообще имеет какой-то смысл, то должны быть вещи, которые мы можем о ней сказать. Первая такова: душа будет некой духовной вещью, чем-то нематериальным, нефизическим. И, во-вторых, душа есть некая мыслящая вещь, вещь, обладающая умом, или душевным существованием.

Есть ли какие-нибудь нефизические вещи? Или всё во вселенной сделано из физического материала? Ошибочно думать, что физические вещи всегда твёрды и всегда видимы. Облака — физические вещи, как и гены и радиоволны. Другие вещи — шахматные задачи, стихи, числа — нефизичны насквозь. Но души — иное. Они ни тонко-физичны, как рентгеновские лучи, ни абстрактны, как рецепты. Так что, похоже, души должны быть каким-то совершенно особым родом нефизических вещей.

Но многие возразят. Они скажут, что нам уже хорошо известно множество подобных душе предметов, конкретных вещей, которые и нефизичны, и мыслят. Возьмите хотя бы наши собственные умы. Они, может быть, близки к мозгу и телу и связаны с ними, но это сущности иного рода. Декарт особенно известен своим утверждением, что мы можем понять, просто ясно и отчётливо подумав об этом, что ум — одно, один род вещей, а тело — другое. И важен именно ум. Мы по сути своей умы, или мыслящие вещи, которым просто случилось поселиться внутри тел, — примерно так, как (это его сравнение) кормчий находится на своём корабле. Но многие доказывали, что дело не так ясно, как хотелось бы Декарту.

Хотя вполне очевидно, что бывают тела без умов — камни, столы, дубы, — ещё не очевидно, что бывают или могут быть умы без тел. Не очевидно и то, что мы сейчас представляем собой смесь двух отдельных вещей. Может быть, наши умы немного похожи на радиопередачи: есть мысли, убеждения, воспоминания, и это не просто кусочки материи, но их бы вовсе не было, они не существовали бы, если бы не было кусочков материи — тел, мозга, нервных окончаний, электрических импульсов, — которые все вместе работают определённым образом и порождают убеждения, воспоминания, желания и тому подобное. И, конечно, было бы странно, если бы это было не так, странно, если бы соответствия между мыслями, с одной стороны, и поведением мозга, с другой, вовсе не были необходимыми, а были просто чередой совпадений — произвольных, случайных, делом случая.

Некоторые философы, опираясь на эти сомнения в дуализме — идее Декарта, что существуют два разных рода материи, — предположили, что души не имеют смысла. Ведь если ум зависит от мозга, то никакого бестелесного ума попросту быть не может. Но мне не кажется очевидным, что душ быть не может. Одно дело — находить прорехи в доводах, пытающихся доказать, что наши умы и тела — отдельные вещи, и совсем другое — показать, что идея бестелесного ума совершенно бессвязна. Ведь если бы она была бессвязна, если бы даже Бог не мог создать души, то, по-видимому, не мог бы существовать и сам Бог. Ведь Он тоже, как предполагается, есть нефизическая и при этом мыслящая вещь, а значит, и сам — своего рода душа.

Есть, однако, и другие проблемы со взглядом на душу. Согласно большинству представлений о загробной жизни, души не просто мыслят — они узнают друг друга и общаются между собой. Но могут ли бестелесные души действительно вести общественную жизнь? Сейчас мы обычно вступаем в общение с другими людьми, сначала перемещаясь в пространство рядом с ними, а затем каждый из нас пользуется частями тела — глазами, руками, ртом, — чтобы сообщаться с другим. Души так не смогут. Не смогут они и вместо

этого просто силой воли проникать в ум другого. Ведь подлинное общение включает возможность сказать «нет». Вы хотите поговорить с Мэрилин Монро, но она опять занята — с Эйнштейном.

Опять-таки, впрочем, кажется, что проблемы здесь могут быть преувеличены. Душам могло бы казаться, что они видят друг друга, что движутся в пространстве, что говорят. И, может быть, они могли бы общаться своего рода телепатией, внедряясь в мысли друг друга — иногда успешно, а иногда, когда другая душа занята, оставляя бестелесное текстовое сообщение. Оставим пока в стороне вопрос, насколько интересной была бы такая жизнь, особенно если она длится долго, но всё же кажется, что она могла бы быть возможна.

### Может ли душа быть мной?

Я сказал, что в этой главе будут и другие случаи, когда придётся рассматривать проблемы тождества. И сейчас возникают две такие проблемы. Ведь когда речь идёт о вере в загробную жизнь, недостаточно убедиться, что могли бы существовать бестелесные души, вещи, которые, будучи только душевными, в некоторых важных отношениях могли бы походить на личности. Нужно убедиться также, что каждый из нас мог бы быть одной из этих душ. Но можно ли нас в этом убедить?

Первая проблема вытекает из одного соображения о дуализме. Допустим, мы согласны, что мы сейчас не являемся неким сочетанием двух различных вещей — физического тела и нефизического ума или души. Кладёт ли это конец взгляду на душу? Иначе говоря, могли бы вы стать душой, если сейчас ею не являетесь? Не вижу, почему нет. Многие вещи могут пережить смену материала, в котором они воплощены: музыкальное произведение может быть записано нотами или исполнено оркестром, стихотворение может быть вытравлено на типографской

пластине, храниться в электронном виде на жёстком диске компьютера или просто быть заучено наизусть. Важно в этих случаях то, что представляется нам существенным, присутствует в обоих вариантах и что один из них есть причина другого. И если мы думаем, что существенное в человеке — его ум, его личность, характер, память и так далее, — и думаем, что такие вещи могли бы существовать в нематериальной форме, то, конечно, человек мог бы пережить такую смену субстанции, существуя сначала как физическое, а затем как духовное существо.

Вторая проблема связана с теми предположениями, что были сделаны выше о том, как справиться с трудностями телесного воскресения. Как нас можно убедить, что новорождённый человек — это вы? Ни внешнего сходства с вами, ни сходства в мышлении, ни того и другого вместе недостаточно. Не решит дела и то, если вдобавок новый человек верит, что он — это вы. Рассмотрим обычный случай:

*Слишком одинаковые близнецы?* У них много общего — внешность, манера двигаться, вкус в одежде. Но всё же Кэрол и Сьюзен, хотя и однояйцевые близнецы, — разные люди. Обе на свадебной вечеринке готовы повеселиться, когда гипнотизёр вызывает добровольцев. Он едва верит своей удаче, тому повороту, который это придаст его номеру, когда вперёд выходят близнецы. Сначала он вводит в транс Кэрол, говорит ей, что она Сьюзен, и задаёт ей вопросы — по мнению некоторых присутствующих, чересчур многие — о её прошлом.

Что бы она ни делала, как бы ни выглядела и во что бы ни верила, Кэрол — не Сьюзен. Это, конечно, ясно. Но ясно и то, что этот случай отличается от случаев, касающихся загробной жизни. Во-первых, одна из причин настаивать на том, что Кэрол не Сьюзен, — это что сама Сьюзен всё ещё здесь и заявляет на это куда более сильное притязание. Во-вторых, мы можем указать на обман в этом случае и потому уверенно сказать, например, что Кэрол лишь кажется, будто она помнит то, что делала Сьюзен. В-третьих, мы можем предположить здесь, что сходство и частично, и временно: в

жизни Сьюзен много такого, чего Кэрол даже не кажется, будто она помнит, и, если гипнотизёр не хочет попасть под суд, различия между сёстрами скоро будут восстановлены. Но с душами дело обстоит иначе во всех трёх отношениях: душа появляется после вашей смерти, у нас нет причин предполагать какой-либо обман, и воспроизведение вашей душевной жизни полно и устойчиво. Я не говорю, что это доказывает, что душа — это вы, а лишь то, что тем самым устраняются многие из наиболее очевидных оснований для подозрения. Опять же, мы можем продвинуться дальше в последующей главе.

Последнее замечание. Эти проблемы возникают лишь при предположении, что мы уже не являемся душами, для которых тела служат временным пристанищем. Но если я сейчас душа, то любая душа в загробной жизни будет мной в том и только в том случае, если это та же самая душа. И те проблемы, что угрожали взглядам на воскресение, здесь просто не возникнут. Ведь души, в отличие от тел, предположительно, остаются целыми на всём протяжении и не содержат частей, на которые могли бы притязать другие.

## Взгляд на перевоплощение

Ещё один взгляд на загробную жизнь, по-видимому, в важных отношениях соединяет черты двух описанных выше. Верующие в перевоплощение думают, что после смерти мы родимся заново, но в другом теле. Может быть, вы вернётесь как кто-то другой, может быть, как животное, или птица, или насекомое. Иметь тело, стало быть, важно, но мы можем жить дальше без какого-либо определённого тела или даже без какого-либо определённого рода тела. Так что же именно делает этого другого человека или животное мной? Это я, потому что оно содержит мою сущность, или дух, или душу.

Взгляды, связанные с перевоплощением, хотя они и становятся всё популярнее во всём мире, чаще всего связывают с крупными религиями Востока — индуизмом, буддизмом и сикхизмом. У этих

религий немало общего, как и у так называемых религий Книги — иудаизма, христианства и ислама. И различия между их представлениями о загробной жизни — с перевоплощением, с одной стороны, и (чаще всего) с воскресением, с другой, — глубоки.

Во-первых, и это самое очевидное, поскольку верующие в перевоплощение видят нас по существу нематериальными вещами — умами, или духами, или душами, — они не заинтересованы в сохранении тела после смерти. Отсюда резкий контраст, смягчившийся лишь недавно, между западным погребением и восточной кремацией.

Более важное различие в том, что перевоплощение обычно предполагает совершенно обезличенное представление о том, в чём состоит жизнь после смерти. Даже если когда-то вы были ацтекским воином, а в будущем вернётесь козой, вы не можете надеяться помнить что-либо из этого прежнего существования или ожидать, что коза будет помнить вашу нынешнюю жизнь или будет иметь что-то от вашего характера или личности. Допустим, вы экстраверт, без ума от танцев и с хорошим чувством юмора. Коза вряд ли проявит такие черты. И мы ошибаемся насчёт индуистов, буддистов и сикхов, если полагаем, будто они думают, что у одних коз козий ум, а другие мыслят себя людьми, заключёнными в теле козы. Нечто подобное происходит с принцем-лягушкой в сказке, но не происходит с нами в восточных религиях. И потому, хотя такие религии разделяют с некоторыми версиями христианства веру в души, эти души понимаются совсем по-разному.

И всё же участь козы не вполне отделена от вашей. Центральное место в большинстве представлений о перевоплощении занимает идея кармы — идея о том, что ответственность за поступки в одной жизни переносится в следующую. Если вы дурной человек, козе придётся за многое ответить. И с этим связана идея, что необъяснимого зла не бывает. То, что нам может казаться несчастным случаем, скажем, что ваши дети слепы от рождения или что ваш двоюродный брат потерял всё

при биржевом крахе, будет рассматриваться как наказание за грехи прежней жизни.

Другие различия, на которые уже намекнуло сказанное, касаются желательности и протяжённости загробной жизни. Хотя перевоплощение продолжается и продолжается, а согласно индуистским представлениям произойдёт 84 миллиона раз, круговорот смерти и рождения не бесконечен. И это не плохо. Чем ближе мы к выходу из этого круговорота, к полному сбрасыванию «я», к нирване, тем лучше. Итак, в резком отличии от крупных монотеистических религий, верующие в перевоплощение считают несуществование идеалом.

## Могу ли я перевоплотиться?

Насчёт отдельных моментов здесь можно спорить, и, несомненно, некоторые сочтут, что мой набросок местами искажает или упрощает то, что предполагается в перевоплощении. Может быть. Восточные религии, в отличие от религий, пришедших с запада, никогда не были вполне систематизированы и кодифицированы, и неудивительно, что многие их последователи видят вещи по-разному. Тем не менее многие из этих последователей сами согласны с тем, что в сердцевине представлений о перевоплощении лежит глубокая трудность — трудность понять, как оно вообще может претендовать на то, чтобы быть представлением о жизни после смерти.

Что же, собственно, должно жить дальше? Если ни моё тело, ни мой ум — воспоминания, убеждения, личность, характер — не переживают мою смерть, почему я должен думать, что есть хоть какой-то шанс, что я рожусь заново? У верующих в перевоплощение здесь есть ответ. Они настаивают, что выживает душа, или дух, или сущность, и, поскольку она выживает, мы будем жить снова. Но этот ответ сам по себе скуден, и, пока его не раскрыть, выигрыш невелик.

Допустим, что во всех нас, а также в животных и, может быть, в растениях есть какой-то род духовного вещества, что-то нефизическое, что переживает нашу телесную смерть и вновь появляется в другом месте, в другой форме. Ну и что? Частицы физического вещества могут переходить из одного тела в другое, но это само по себе не обеспечит моего выживания. Почему подобное переселение духовного вещества должно быть хоть сколько-нибудь важнее, если это духовное вещество не есть я? И как недостаточно просто сказать, что атом или кусок кости или сердце — это я, так недостаточно просто сказать, что духовное вещество есть душа, а затем сказать, что душа — это я. Жизнь после смерти, конечно, требует большего. Рассмотрим:

*Питер, Пол и Мэри.* После многих лет, проведённых вместе в дороге — из города в город, с песнями и гитарами, — и Питер, и Пол умирают, и их кремируют. Питер перевоплощается и возвращается в эту жизнь ласточкой. Пол полностью прекращает существование, но вскоре после его смерти рождается ласточка. Мэри, их младшая сестра, живёт дальше одна в их частично перестроенном амбаре. И, будучи сама всегда человеком духовным, она узнаёт об их разной участи во сне. Приходит весна, и ласточки вьют гнёзда в её амбаре. Она гадает, которая из двух — Питер, но вынуждена признать, что не видит между ними никакой существенной разницы. Она вынуждена признать и то, что не может толком представить себе, в чём состояла бы существенная разница. Ласточки — они и есть ласточки…

Здесь два момента. Бывает трудно различить две вещи, хотя они существенно различны. Врач может быть не в силах выяснить, который из двух людей вынашивает смертельную болезнь. Тем не менее он знает, в чём разница, почему она важна и как со временем она проявится. Но дело не просто в том, что Мэри сама не может решить, которая из птиц её брат, а которая — просто птица. Она даже не может толком осмыслить идею, что одна из них может быть Питером. У неё нет трудностей с мыслью, что одна из них может содержать частицы Питера — душевные ли частицы или

физические. Но это, похоже, не помогает. Не помогают ей и представления о переносе ответственности из одной жизни в следующую. Допустим, Питер годами был порочным грубияном, а одна из птиц всё время болеет. Мэри можно было бы убедить, что одно есть причина другого. Но пока её не убедили, что ласточка — это Питер, это поражает её как глубокая несправедливость, а не как заслуженное воздаяние. Насколько она может судить, нет никакой существенной разницы сейчас между Питером и Полом. Нет никакой существенной разницы между смертью и перевоплощением, с одной стороны, и смертью, за которой следует отдельное рождение, — с другой.

Тревоги Мэри, конечно, — мои. Душа, которая не несёт с собой из одной жизни в другую никаких убеждений, никаких воспоминаний, никакого характера, — это, по-видимому, душа лишь по названию. Если она таким образом лишена всех психологических черт, эта так называемая душа, чем бы она ни была, не может быть мной. Насколько я могу судить, взгляды, связанные с перевоплощением, даже если они предполагают почти бесконечный круговорот чего-то, сколько-нибудь основательным образом не составляют стоящего представления о жизни после смерти.

## Есть ли загробная жизнь?

Я предположил, что при двух из трёх рассмотренных взглядов жизнь после смерти по меньшей мере возможна. Мне не кажется бессвязным или нелогичным предположение, что после моей смерти может быть кто-то живой, кто, во-первых, в некоторых важных отношениях похож на меня и кто, во-вторых, действительно есть я, тот же самый человек. Может быть, в этой новой жизни у меня какое-то тело, а может быть, я существую просто как душа. Оба предположения кажутся мне осмысленными.

Но согласиться, что есть эта голая возможность выживания, — ещё не значит, конечно, согласиться, что кто-то из нас выживет.

Возможно многое — выигрывать в лотерею каждую неделю целый год; быть сбитым метеоритом как раз в тот момент, когда произносишь слово «метеорит»; соседи, которые всякий раз, когда вас нет дома, вламываются к вам, устраивают буйные вечеринки, потом убирают беспорядок и исчезают, — но нет причин верить, что такое действительно случается. Так ли и с загробной жизнью? Это просто дикая фантазия, или у нас есть основания думать, что она может состояться?

## Могут ли быть свидетельства?

Вот история о жизни после смерти:

*Сила молитвы*. Их принцесса погибает, и народ охвачен горем. Столько надежд было связано с ней, так сильно верили ей, когда она говорила, что будет их королевой сердец. По всей стране проходят поминальные службы, а в день похорон объявлен национальный траур. Её хоронят, как короля Артура, на острове. А потом — конечно, это чудо — она возвращается к нам. Сначала рассказы встречают с подозрением: это шутка, это спьяну, это самозванка. Но вот она, та же самая женщина. Когда, всё ещё подозревая, вскрывают гроб, там ничего нет.

Это было бы своего рода чудо. И некоторые из нас отказались бы в него поверить. Но следует ли? Этот враг религии, Дэвид Юм, по-видимому, доказывал, что у нас никогда не может быть оснований верить, что такое когда-либо происходит. Есть столько других объяснений — галлюцинации, обман, человеческая доверчивость, — и каждое из них с большей вероятностью стоит за любым так называемым чудом, чем подлинно сверхъестественные события. В конце концов, чудеса почти по определению должны быть чем-то из ряда вон выходящим, полностью расходящимся с нашим повседневным опытом. Мы всегда должны быть подозрительны. И всё же, мне кажется, может наступить момент, когда эта ссылка на обычные объяснения исчерпана и не остаётся

разумного выбора, кроме как признать, что необычайное, даже чудесное, произошло. Или возьмём случай другого рода, менее фантастический:

*Спиритический сеанс*. На улице вы бы её особенно не заметили и не выделили бы среди подруг в «Подвязке и звезде». Большую часть времени в Берил нет ничего особенного. Пока она не впадает в транс. Спиритизмом она интересуется много лет — с тех пор, как умер её дядя и его дочь, её двоюродная сестра, стала ходить на собрания. Потом, позже, Берил обнаружила, что может устанавливать связь с теми, кто на той стороне. В прошлый четверг, например, в трансе, в каком-то полуобмороке, а затем другим, хриплым голосом, она будто бы стала устами человека, который назвался Джебом и сказал, что сражался против Бонапартовой братии у берегов Испании.

Что нам сказать о подобных вещах? Конечно, обычно есть естественное объяснение — надувательство, самообман или своего рода истерия. И рассказы «с той стороны» обычно заурядны, это то, что любой мог бы вычитать из книг или выдумать. Но мы можем по меньшей мере вообразить случай, когда высказываются утверждения о событиях, которых никто ныне живущий никак не может знать, когда всё это тщательно записывается, когда есть множество надёжных свидетелей и когда последующие открытия доказывают истинность этих утверждений. Даже тогда это всё ещё может быть не более чем поразительным совпадением. Но если мы думаем, что души могут существовать и что они могут как-то сообщаться с нами, то, мне кажется, мы должны допустить, что могут быть свидетельства — пусть и никогда не окончательные, — указывающие на то, что мы действительно столкнулись с душой. И в таком случае, похоже, могли бы быть собраны свидетельства подходящего рода.

## Есть ли свидетельства?

Это всё ещё страна фантазий. Сказать, что свидетельства могли бы быть, — ещё не значит сказать, что такие свидетельства когда-либо были найдены. И я думаю, что главное препятствие к вере в жизнь после смерти именно в том, что в конечном счёте свидетельства никогда не бывают особенно сильными. Может быть, Иисус действительно воскрес после распятия, на третий день, и ходил и беседовал со своими учениками, но просто нет веских причин верить, что так и было. Может быть, вампиры существуют, но пока нет причин в них верить. Может быть, мы живём дальше как души и после смерти могли бы примириться с врагами, выразить сожаление обо всём несказанном или сказанном сгоряча и жить созерцательной жизнью. Но опять-таки нет причин верить во что-либо подобное.

Мой скептицизм здесь примут многие из тех, кто во всё это верит. Ведь многие религиозные люди настаивают на том, что за их ключевыми убеждениями стоит вера, а не разум. Другие, однако, захотят сказать, что есть множество случаев, где свидетельства сильны. И в последние годы так называемые околосмертные переживания, о которых сообщает каждый двадцатый американец, широко обсуждаются как свидетельство загробной жизни.

Это трудно понять. Быть близким к смерти, в конце концов, существенно отличается от того, чтобы быть мёртвым. Более того, можно сказать, что все мы довольно близки к смерти всё время. И есть гораздо более простые объяснения того, почему кто-то после операции, во время которой, скажем, у него на какое-то время остановилось сердце, сообщает, будто ему казалось, что он видел приветливого незнакомца в ярком свете в конце туннеля или что мог видеть себя как бы сверху на операционном столе. Ни один из этих людей никогда по-настоящему не был мёртв. И, конечно, если бы были, у нас было бы превосходное свидетельство жизни после смерти — пусть и вызванной врачами, а не Богом, — что бы они ни помнили.

Было бы ошибкой, однако, думать, что такие переживания — явление недавнее. Беда, писавший в Англии VIII века, рассказывает историю о человеке, который, по-видимому, умер посреди ночи, а на следующее утро вернулся к жизни. Этот человек описывает, что с ним произошло:

> Вожатым моим был светлый ликом муж в сияющем одеянии, и мы шли в молчании, как мне казалось, в сторону северо-востока… Вскоре он вывел меня из тьмы в ясный свет, и, когда он вёл меня вперёд в ярком свете, я увидел перед нами огромную стену, которая казалась бесконечной в длину и в высоту во все стороны. Не видя в ней ни ворот, ни окна, ни входа, я стал недоумевать, зачем мы подошли к стене. Но когда мы достигли её, мы вдруг — не знаю каким образом — оказались на её вершине. За ней лежал весьма обширный и приятный луг… Таков был свет, заливавший всё это место, что он казался ярче дневного света или лучей полуденного солнца.

Мало что меняется. И опять-таки правильная реакция, я бы предположил, — принимать всё это с долей скепсиса.

## Буду ли я жить дальше?

Каков ответ? Я хотел предположить, в отличие от доводов ряда философов, что некоторые формы загробной жизни возможны. Мы могли бы снова жить в той или иной телесной форме или могли бы существовать просто как бестелесные души. Могли бы мы вместо этого перевоплотиться? Я высказал сомнения. Но не потому, что считаю невозможным, чтобы что-то переселялось из одного тела в другое. Скорее потому, что, исходя из собственного представления верующего в перевоплощение о том, что это за нечто, трудно увидеть, как это сулит загробную жизнь мне.

Важно ли, что я не согласен с теми, кто скептически относится к возможной загробной жизни? В известной мере, но это несогласие касается скорее того, чего может достичь философия, чем того, что ждёт нас после смерти. Ведь, как я указал, я сам в свою очередь скептичен — скептичен в отношении попыток с помощью разума и

доводов совершенно исключить голую возможность жизни после смерти.

И что нам делать с этой голой возможностью? Немногое. Между тем, чтобы допускать возможность выживания, и тем, чтобы прийти к позиции, при которой загробная жизнь кажется несомненной или хотя бы вероятной, — огромная разница. И, хотя многие решительно не согласятся, я хочу предположить, что просто нет веских причин, нет сильных свидетельств, чтобы думать, что кто-либо из нас будет жить дальше.

*Глава 6*

# Принять ли мне эликсир жизни?

> *…раньше всех просят о смерти люди немножко вроде вас. Те, кому хочется целую вечность секса, пива, наркотиков, быстрых машин — в таком роде. Сначала они не могут поверить своему счастью, а потом, через несколько сотен лет, не могут поверить своему несчастью.*
>
> (Джулиан Барнс. «История мира в 10½ главах»)

Многие примут. Дай им хоть полшанса на бессмертие — они за него ухватятся. Это едва ли удивительно. Если смерть, как кажется, есть зло, то её, конечно, лучше всего избегать как можно дольше. А лучше всего — если её можно избежать совсем, чтобы мы могли жить вечно. Даже если мы сомневаемся, что это им когда-нибудь удастся, мысль о том, что учёные однажды смогут покончить со смертью, — это, похоже, то, на что могли бы надеяться все мы. И даже если есть соответствующие сомнения насчёт рая, о нём мы точно так же вполне можем захотеть молиться. Так что эликсир, волшебное снадобье, путь в вечность — пусть это и предмет фантазии, но фантазии всё же желанной. И допустим, он попадёт вам в руки, — вы, конечно, захотите его принять.

Но не так быстро. Жизнь может быть плохой, а смерть иногда может быть лучше. И если небытие может быть предпочтительнее земных бед, то оно, конечно, может быть куда лучше огня, вил, несказанных мук ада. Почитайте Данте, посмотрите Босха — и всякий наивный восторг перед загробной жизнью очень скоро поутихнет. Лучше вообще ничего, чем такое существование. И лучше уж, если без этого никак, неделя в аду, чем вечность там. Так что нужно внимательно обдумать положение, в которое мы можем

себя поставить. Не все варианты бессмертной жизни должны значиться в нашем списке желаний.

Здесь высказано бесспорное соображение: бессмертная жизнь не обязательно была бы хорошей. Это, конечно, зависит от того, какая жизнь предлагается. Но ряд людей хотел предположить ещё и то, что бессмертие обязательно было бы нехорошим. Так что, что бы ни сулил эликсир, мы были бы безумцами, если бы его приняли. Это спорно. Я не вполне уверен, что это спорное утверждение истинно. Но о нём стоит подумать.

## Варианты жизни

Бессмертие могло бы принимать многие формы. Было бы неразумно принять любое снадобье, обречь себя на любую бесконечную жизнь, не изучив мелкий шрифт, не убедившись, что именно предлагается, и не выяснив, во что это может обойтись вам и другим. Некоторые проблемы, такие как ад, будут очевидны. Другие, может быть, труднее заметить. Так что всё это требует большей подробности.

Прежде всего есть большое различие между, с одной стороны, той загробной жизнью, которую сулят или которой грозят разные религии, — загробной жизнью сверхъестественного рода — и, с другой стороны, надеждой, по крайней мере, на бессмертие здесь, на земле. Подумаем о первой. Хотя ад, очевидно, может быть плох, не следует просто предполагать, что рай любого традиционного рода будет настолько лучше. Не забывайте: бессмертие — это навсегда, а навсегда может показаться долгим сроком, чтобы играть на арфе, созерцать вечные истины или славить Бога. Образ рая, данный в Коране, богаче подробностями и, несомненно, многих привлечёт:

> Истинные рабы Аллаха получат всё в изобилии: они будут вкушать плоды и пребудут в почёте в садах наслаждения. Возлежа на мягких ложах лицом друг к другу, они будут обнесены чашей из бьющего источника, белой и сладостной для пьющих. Она не притупит их чувств

> и не затуманит их разума. С ними будут сидеть скромноокие черноглазые девы, целомудренные, как укрытые страусиные яйца. [Ср. Коран 37:40–49]

Но опять-таки пара недель такой жизни, может быть, лучше целой вечности.

Подумайте вместо этого о бесконечном продолжении жизни на земле — и здесь есть за чем следить ещё больше. Прежде чем принимать какой-либо эликсир, хорошо бы выяснить, только ли он не даёт вам умереть или ещё и останавливает старение. У струльдбругов в «Путешествиях Гулливера» бессмертная жизнь, но явно непривлекательного рода:

> В девяносто лет у них выпадают зубы и волосы; в этом возрасте они уже не различают вкуса пищи, а едят и пьют всё, что попадётся, без удовольствия и аппетита. Болезни, которым они были подвержены, продолжаются, не усиливаясь и не ослабевая. В разговоре они забывают обычные названия вещей и имена людей, даже самых близких друзей и родственников. По той же причине они никогда не могут развлекаться чтением, ибо память не позволяет им удержать начало фразы до её конца; и из-за этого недостатка они лишены единственного развлечения, к которому иначе ещё были бы способны…

И это им пока всего 90. Дальше хуже. Гулливер замечает, несколько сдержанно, что в свете этого его «пылкое желание вечной жизни сильно поостыло».

А если вы уже стары? Или вы нескладный подросток с прыщами? Многие из нас предпочли бы выбрать какой-то идеальный возраст, сперва прибавив или сбросив десяток-другой лет, а затем навсегда на нём остановиться или хотя бы казаться остановившимися. Некоторые, впрочем, тревожились, что это может оказаться не так хорошо, как кажется сначала: «Быть тридцатипятилетним два года — звучит, конечно, привлекательно. Но три года? Немного скучновато. Пять лет — смешно. Десять — трагично». Другие не видят здесь проблемы и, остановившись в расцвете сил, были бы рады оставаться там и дальше.

Но беспокоиться придётся не только о болезнях и старении. Какой смысл жить вечно, если вы, как и все мы, можете лишиться руки из-за крокодила, а затем ноги из-за несчастного случая на лыжах, быть прострелены насквозь или обезглавлены? А если вы упадёте в чан с кислотой или вас разорвёт на куски на какой-нибудь войне, то, конечно, ничего не останется, кроме как умереть? Здесь-то реалистичные надежды на бессмертную жизнь и оказываются под давлением: даже если учёные смогут положить конец обычным признакам старения, даже если смогут искоренить болезни или всегда им противостоять, вряд ли они найдут способы гарантировать, что мы сможем оставаться в живых при любых обстоятельствах. Как картина при должном уходе может сохраняться бесконечно долго, но при небрежении может быть и уничтожена, так и человеческие жизни при любом реалистичном и несверхъестественном подходе.

Так что забудем пока о реализме. Эликсир уже и так фантастичен, так давайте просто дополним фантазию и вообразим, что, приняв его, вы будете жить вечно, что бы ни случилось. И добавим также, что вы будете жить в хорошем состоянии: дыры будут затягиваться, части тела — отрастать. Не беспокойтесь о подробностях того, как именно.

Вопрос другого рода касается отношения к другим. Эликсир могут предложить вам одному, а могут, наподобие фтора, добавить в водопровод. Или, может быть, в виде компромисса, вы сможете назвать с дюжину других бессмертных и так разделить вечность с самыми близкими. Эти варианты будут составлять большую разницу. Не стареть, не умирать, тогда как окружающие остаются подвержены ударам времени, — это поначалу может привлечь тщеславных среди нас, но в долгосрочной перспективе, вероятно, будет отчуждать, ставя вас слишком далеко от других и делая мимолётность отношений — вы живёте дальше, они умирают — совершенно неизбежной. И вам придётся либо быть обманщиком, исчезая и принимая новое обличье каждые несколько лет, либо, если вы выдадите тайну, быть готовым к тому, что все встречные

будут обращаться с вами как с уродцем. Так что лучше, может быть, если это будет общей участью и форма и рисунок вашей жизни будут во многом отражаться в жизни окружающих.

## Лучшая жизнь

Люди вряд ли согласятся относительно этих разных вариантов бессмертия. Одни из нас хотят избавиться от тела и провести более или менее неизменную вечность с Богом, Христом и ангелами. Другим нравится их нынешняя жизнь, и они были бы рады, если бы она длилась вечно. Из них одни хотели бы большого общества, а другие предпочитают быть особенными. Почти никто не хочет ада.

Некоторые варианты вечной жизни были бы плохи. Другие, может быть, приемлемы, но не стоят у вас на первом месте. Но может ли быть правдой, как утверждают некоторые, что просто нет такого подробного представления о бессмертии, которое должно бы нас прельщать? Может ли быть правдой, что даже если вам дадут полную свободу уладить мелкий шрифт как и каким угодно образом, вам всё равно следует, если у вас есть хоть капля здравого смысла, отклонить предложение и оставить эликсир там, где он стоит, нетронутым? Может ли быть правильным решить в конце концов, что лучше умереть, чем бесконечно жить дальше?

Подумайте о разных способах, которыми вы могли бы быть бессмертны. Выберите из них тот, который считаете лучшим. Вообразите эликсир, который, если вы его примете, гарантирует вам эту жизнь. Одно важное напоминание: бессмертие — это навсегда; предлагается не жизнь такой длины, какую вы выберете. Предложение сделано: единственный в жизни шанс стать бессмертным. Вы бы согласились?

## Бессмертная жизнь

Император хочет вечной жизни, и его алхимики в Праге трудятся над формулой. В конце концов один из них, Иероним Макропулос, создаёт нечто, что обещает с каждой дозой продлевать

жизнь на 300 лет. Но его заставляют сначала испытать снадобье на дочери. Она плохо его переносит, заболевает, и, хотя она выздоравливает, император, понятно, не склонен принимать его сам. И, конечно, он понятия не имеет, что эликсир на самом деле действует.

Всё это — предыстория оперы Яначека «Средство Макропулоса». Действие происходит в наши дни, и Элине Макропулос, на вид молодой и красивой, теперь 337 лет. Она певица, богата, пленяет и мужчин, и женщин, но в ней есть что-то тревожное, что-то ночное. Бросив вереницы любовников и целые классы детей, она была вынуждена несколько раз заново изобретать себя и менять облик, исчезая всякий раз, когда её кажущаяся молодость начинала вызывать подозрения. Впрочем, инициалы она всегда сохраняла одни и те же — Элиан Мак-Грегор, Эухения Монтес, Екатерина Мышкина, — и в начале действия она выдаёт себя за Эмилию Марти, вернувшись в Прагу, где всё началось, в поисках формулы, которую ей как-то удалось потерять столетия назад. Но хотя она вовремя её находит, она начинает понимать, что бесконечной жизни больше не хочет:

> Не должна жизнь длиться так долго! Если бы вы только понимали, как вам легко. Вы так близки ко всему. Для вас во всём есть смысл. Для вас всё имеет цену. Глупцы, вы счастливы по ничтожной случайной причине — потому что так скоро умрёте. А во мне жизнь остановилась, Господи, и дальше идти не может! Какое страшное одиночество! Всё напрасно, Криста, поёшь ли ты или молчишь, — нет радости быть хорошей, нет радости быть плохой. Нет радости на земле, нет радости на небе. И начинаешь понимать, что душа в тебе умерла.

И вот она умирает, а формула уничтожена.

Слабость ли это с её стороны? Это история о личной трагедии, об индивидуальном малодушии или же, как претендуют многие оперы, о человеческом уделе, и мысль в том, что любой из нас в конце концов захотел бы выйти из игры? Её так и понимали. И философ Бернард Уильямс доказывал, что Э. М., как он её называет, принимает единственно разумное доступное ей решение и что все

мы рано или поздно предпочли бы смерть ещё большей жизни. Другие же, хотя и впечатлённые силой его убеждённости, думают, что, принимая сторону Э. М., Уильямс просто выдаёт собственное отношение к жизни: одни захотят сказать «на сегодня хватит», а другие до смерти захотят продолжать.

В чём же именно проблемы бессмертия? Почему оно, как утверждается, в конечном счёте столь непривлекательно? Вслед за Уильямсом можно назвать три причины.

## Скука

Действительно ли кому-то хочется побывать на всех пляжах Африки? Или как можно дольше смотреть «Симпсонов»? Или прочитать все когда-либо написанные книги? Помню, как, будучи студентом, я загорелся постановкой «Гамлета» в местном театре. Я не мог понять, когда женщина, преподававшая нам итальянский, — ей тогда было около 60, — сказала, что видела «Гамлета» достаточно часто и не очень-то хочет смотреть его снова. Но на самом деле правда в том, что для многих из нас действительно наступает время, когда поездка в Барселону, устрицы, новогодний фейерверк уже не так волнуют, как когда-то. Действительно наступает время, когда, чем бы мы ни занимались, если продолжаем это делать, нам становится скучно.

Многие с этим не согласятся и будут воображать, что скука никогда не наступит. Они почти наверняка неправы. Но даже те, кто согласен, возразят, что хотя одно может нам наскучить, мы всегда можем перейти к чему-то другому. В конце концов, в мире действительно очень много всего, и не только понадобятся века, если не совсем вечность, чтобы хотя бы поцарапать поверхность, но верно и то, что всего этого постоянно становится больше: люди пишут новые книги, снимают новые фильмы, посылают новые космические зонды ко всё более далёким планетам. Так что, может быть, просто ошибочно думать, что у нас когда-нибудь закончатся

занятия, ошибочно думать, что настанет время, когда мы не сможем развить новые интересы, и ошибочно думать, что скука в каком-либо смысле неизбежна.

Об этом можно сказать несколько вещей. Кое-что сказано ниже. Но одно соображение стоит высказать сейчас — оно касается связи между скукой и вопросом о том, будет ли ваша бессмертная жизнь разделённой с другими или одинокой. Допустим, как у Э. М., бессмертие делает вас особенным. Другие умирают. Весьма вероятно, что, по крайней мере пока они сами себя не истребят, эти смертные будут поддерживать поток нового, чем вы сможете заинтересоваться. Будут рождаться новые люди, загораться «Гамлетом» и ставить всё новые унылые студенческие спектакли. Появятся новые идеи насчёт того, что делать с едой, некоторое разнообразие в группах, исполняющих каверы на «Аббу», прорывы в реалити-шоу. По крайней мере тонкая струйка новизны. Но допустим, бессмертны все. Шансы на скуку, по-видимому, существенно возрастают. Ведь, во-первых, не появляется новых людей, приносящих с собой новые идеи. А во-вторых, что с этим связано, существующие люди, вероятно, рано или поздно закоснеют, выдохнутся и почти ни в чём не будут находить стимула к новому. Довольно скоро — с точки зрения бесконечности — вы все, может быть, напишете и прочтёте столько романов, сколько способны вынести. Мир бессмертных, следовательно, — мир, в котором очень недостаёт стимула и побуждения к переменам.

## Глубина

Другая, хотя и связанная с этим тревога касается неизбежного недостатка серьёзности и глубины в бессмертной жизни. Подумайте о нашей нынешней жизни во всех её этапах, и станет ясно, что многое из того, что для нас важнее всего, многие награды и разочарования жизни связаны с теми выборами, которые, раз сделанные, нелегко отменить и которые, раз сделанные, исключают

множество других выборов. Поэтому очень важно, какие предметы мы выбираем в школе, как быть с карьерой, на ком жениться, когда — если вообще — заводить детей, оставаться ли в этой стране или всё продать и попытать счастья в другом месте. Ошибитесь в этом — и может последовать целая жизнь сожалений. Может быть, очень важно и то, чтобы мы прошли Аппалачи, пока ещё в силах, увидели Барышникова в расцвете, а не после, уладили дела с родными до их смерти. Мысль здесь не просто в том, что наша жизнь в целом сравнительно коротка, но в том, что она коротка и в каждом из своих этапов, и на каждом из этих этапов принимаются решения, часто необратимые, которые затем сужают возможности в других местах. Я давно оставил всякую надежду стать артистом балета, а стать хотя бы сносным игроком в дартс или снукер выглядит всё более и более маловероятным. И именно это решающее формирование и сужение наших неизбежно кратких жизней наделяет их серьёзностью, значимостью и весом.

Всё это меняется, когда предлагается бессмертие. Речь не просто о втором шансе, о времени, чтобы передумать, заняться другой карьерой, ещё раз попробовать с семьёй. Скорее, речь о бесконечности таких шансов. Но тогда зачем мучиться над решением, когда вопрос не в том, сейчас или никогда, а в том, раньше или позже? Если вы будете жить вечно, да ещё в наилучших для себя условиях, вы можете быть рок-звездой, чемпионом по теннису и вдобавок премьер-министром, пусть и не всё одновременно. И зачем стараться, прилагать все усилия, чтобы сдать экзамен, подготовиться к работе и получить её, взойти на гору, если всегда есть завтра? Конечно, есть вещи, которые нам важны, даже если это не «сейчас или никогда»: я надеюсь выиграть сегодняшнюю партию в сквош, хотя впереди ещё множество партий. Но в других случаях именно то, что время поджимает, наделяет наши дела неотложностью и значимостью. А в бессмертной жизни эта нужда в чувстве времени по большей части исчезает. По большей части — ведь если другие всё ещё смертны и

вам нужен один из них, придётся действовать. Но тогда зачем терять сон из-за одного, когда появятся другие, ничуть не хуже?

Некоторые, вероятно, примут часть, но только часть этого. Они согласятся, что действительно важно, и часто ужасно важно, когда мы ошибаемся. И если впереди вечность и избыток шансов, муки сожаления будут сильно уменьшены. Но что же в этом может быть плохого? Избегать боли — хорошо. И отсюда вовсе не следует, что уменьшается удовлетворение от того, что всё получилось. Ведь здесь есть интересное различие. Когда что-то идёт не так, мы думаем о том, что могло бы быть. Когда всё получается, мы, как правило, сосредоточены на здесь и сейчас. Вы забиваете голы за «Арсенал», ходите на свидания с тем, с кем хотели, побеждаете на выборах, смотрите, как поднимается суфле. А если это здесь и сейчас, то всё равно, ждёт ли вас впереди вечность или ещё всего несколько лет.

И всё же есть основания сомневаться, что, за исключением горстки случаев, люди когда-либо полностью поглощены одним настоящим. Может быть, так бывает, пока зубной врач сверлит вам зуб или в разгар розыгрыша в теннисе, но для большинства из нас бóльшую часть времени сосредоточенность никогда не бывает более чем частичной. Подумайте о музыкальном произведении, скажем, о симфонии Моцарта. Вы не можете как следует слушать разработку, если не сознаёте, какие именно темы, теперь существующие лишь в памяти, разрабатываются. Во-вторых, как показывает этот пример, дело не просто в том, чтобы смотреть вперёд, но часто и в том, чтобы оглядываться назад. А в бессмертии для этого множество возможностей. Но тогда насколько это может быть важно, насколько может удовлетворять — забивать голы за «Арсенал», зная, что вы занимаетесь этим уже лет сто? Или возьмём более важный и значительно более знакомый случай — влюблённость. Одни считают, что это бывает раз в жизни, а другим, чтобы сосчитать, сколько раз это с ними случалось, понадобятся все пальцы на руках. Но мог бы кто-нибудь влюбиться сто раз, думая снова и снова, что никогда прежде так не чувствовал, что это — оно,

что земля ушла из-под ног? Если вы можете влюбляться так часто, то, может быть, вы вообще не можете по-настоящему влюбиться.

Тревога, стало быть, в том, что форму и смысл нашей жизни в очень большой мере придаёт давление времени. Уберите это давление — и мы рискуем бесконечно плыть по течению, лишь указывая на значимость и ценность, но ничего не достигая. Нечто подобное — положение Фауста в средних сценах пьесы Марло. Продав душу дьяволу в обмен на безграничную власть, Фауст растрачивает жизнь на череду фокусов: дразнит папу и его кардиналов, придумывает пантомимы для императора, превращает врагов в зверей. Как будто, когда — потому ли, что у нас неограниченная власть, или потому, что неограниченное время, — мы можем делать всё что угодно, мы обнаруживаем, что больше нет ничего, что мы действительно хотели бы делать.

## Характер

Здесь есть и ещё одна проблема. Вернёмся к соображению о скуке. Действительно ли вы такой человек, который, будь у него время, может заинтересоваться чем угодно? Или вы скорее человек, который более или менее знает, что ему нравится? Я знаю, что, хотя меня всё ещё интересует новое, многое просто не для меня и никогда для меня не будет. Меня никогда не увлечёт гольф, или комиксы-манга, или пляжный отдых. Это не моё. И это, надеюсь, не делает меня каким-то закоснелым человеком, совершенно не открытым новым идеям или влияниям. Это, однако, связано с тем, что на этом этапе жизни я сложился определённым образом, стал человеком с определёнными интересами и заботами, человеком определённого характера.

Нечто подобное, безусловно, составляет проблему для Э. М. Дело не просто в том, что она стареет, необъяснимо устаёт от новых впечатлений, которые, кажется, всегда к её услугам, и скучает от них. Скорее, она повзрослела, и для неё психологически больше

невозможно испытывать ту безграничную жажду нового, которая свойственна юности. Как говорит Уильямс, она страдает от «скуки, связанной с тем, что всё, что могло случиться и иметь смысл для одного конкретного 42-летнего человека, с ней уже случилось. Или, вернее, все те вещи, которые могли иметь смысл для одной женщины определённого характера…». И суть, конечно, в том, что это закрепление характера и вытекающее из него ограничение будущего опыта — вовсе не то, о чём нам следует сожалеть или без чего мы хотели бы обойтись. Скорее, относиться к жизни и тому, что она предлагает, всерьёз, уделять ей то внимание, которого она заслуживает и которое вам, вероятно, нужно ей уделять, если вы хотите многое от неё получить, — это как раз и означает сокращать свои возможности. Жизнь, которая вас не формирует, не оставляет на вас следа, — это, скорее всего, жизнь, прожитая лишь наполовину.

## Человеческая жизнь

Общая мысль, стало быть, такова: в конечном счёте, по-видимому, есть глубокая и упорная несовместимость между идеей бесконечной жизни, с одной стороны, и нашим пониманием человеческого существования — с другой. Первые мысли о бессмертии подсказывают, что оно может предложить нам просто больше — и желанное больше — той жизни, которую мы уже ведём. Но начинает казаться, что это не так и что бессмертная жизнь была бы столь глубоко отлична от известной нам жизни, что мы едва ли могли бы желать её для себя.

Это, однако, расплывчато. И ещё недостаточно ясно, следует ли нам думать, как, по-видимому, думает Уильямс, что бессмертная жизнь в конце концов была бы хуже любой альтернативы, или же, напротив, что она была бы лишь совсем иной, чем хорошая жизнь привычного, смертного рода, и намного хуже её. Если первое, то принять эликсир было бы всегда неразумно, а если второе, то всё

будет зависеть от того, какая альтернативная жизнь предлагается. Итак, рассмотрим:

*Выпивохи.* Сэмми и Рози сидят в любимом баре, болтают, слушают музыку, пропускают пару стаканчиков. Сегодня Хэллоуин, поэтому их сначала не удивляет, когда к ним подходит таинственный незнакомец, с головы до ног в чёрном, с полузакрытым лицом, с подозрительно низким голосом. Он предлагает им ещё по одной, говоря им — и, бог знает как, убеждая их, — что это эликсир жизни. Подумав и отправив друзьям сообщения с просьбой о совете, оба соглашаются. Странно ли это? Может быть. Но между ними есть важное различие. Хотя обоим сейчас по 30, Сэмми — воплощение здоровья, успешен на работе, без ума влюблён в Элис и только начинает писать свой первый роман. Рози тяжело больна и знает, что ей повезёт, если она встретит Новый год.

Сэмми живёт хорошей жизнью и может ожидать, что она продлится ещё лет пятьдесят. Может быть, он здесь ошибся — безумием было менять это на жизнь без конца, учитывая те недостатки, которые описывает Уильямс. Но как же Рози? Для неё, и очень скоро, — бессмертие или смерть. Вопрос в том, что хуже.

Если сказанное выше верно, то она может ожидать, приняв эликсир, что многое в жизни станет для неё менее интересным, чем было. По меньшей мере ей часто будет скучно. Она может ожидать также, что её жизнь во многих отношениях будет казаться ей мелкой и поверхностной. И чем больше она сохраняет свой характер, чем больше остаётся собой, тем сильнее будут на неё действовать эта скука и мелкость. Но даже если эти проблемы реальны, реальна и проблема смерти, причём совершенно явно преждевременной смерти, стоящей прямо за углом. Многое из того, что сулит хорошая жизнь, для Рози быстро становится недосягаемым. И при таких вариантах, может быть, менее ясно, что, даже с учётом изнанки бессмертия, принять эликсир было бы для неё ошибкой.

Но не наскучит ли ей, как Э. М., в конце концов жить до смерти? Помните, мы условились, что самоубийство, путь к отступлению, исключено. Если со временем она не будет хотеть ничего больше, ничего иного, кроме как умереть, а смерть будет навсегда недоступна, то выбор эликсира окажется глубокой ошибкой. Но здесь кое-что упущено. Ведь даже если наступит время, когда она пожалеет о бессмертии и пожелает себе смерти, это время может длиться не вечно. Её настроение может перемениться. И Э. М., прими она вторую дозу, могла бы обнаружить, что некоторые из радостей жизни позднее вернулись.

Так что, может быть, даже если бессмертная жизнь странным образом отличается от той, которую мы живём сегодня, даже если она к тому же должна казаться нам несравненно худшей, она всё же может быть лучше, чем вообще ничего. Конечно, маловероятно, что вам предложат эликсир как раз тогда, когда вы вот-вот умрёте. Как и Сэмми, вы можете оказаться перед трудным решением в самом разгаре жизни. Но вернёмся к религиозной точке зрения и допустим, что рай есть. Если не считать мучеников, вы попадёте туда — если вообще попадёте — и начнёте новую жизнь в том, что в любом случае было бы концом этой. Может быть, следовательно, рай лучше, чем ничто, и на него можно с основанием надеяться.

## Дальнейшие тонкости

Допустим, однако, что Уильямс прав. Бессмертная жизнь из-за перечисленных выше трудностей не есть то, чего мы могли бы разумно желать для себя. Распишите её самыми яркими красками — и смерть всё равно будет лучше.

Но, может быть, мы могли бы внести ещё некоторые поправки в то, каким могло бы быть бессмертие, чтобы избежать этого вывода. Один путь — рассмотреть связи, на которых настаивает Уильямс и которые ещё раз подчёркнуты выше, между скукой и легковесностью, с одной стороны, и постоянством характера — с другой. Именно потому, что мы хотим оставаться более или менее

тем же человеком, наступают скука и недостаток серьёзности. Так что, если мы откажемся от этого желания оставаться прежними?

Здесь могут кое в чём помочь представления о перевоплощении. Вы живёте вечно, но в череде различных форм. И как мышь ничего не знает об осле, так и вы не знаете о дровосеке, которым были, и звёздный путешественник, которым вы со временем станете, ничего не будет знать о вас нынешнем. Проблема с перевоплощением в том, что очень трудно понять, как два человека, разделённые веками и континентами, не имеющие общего ни в уме, ни в теле, могут действительно быть одним и тем же. Но, может быть, это можно обойти:

*Камера омоложения.* Делать детей по-старому, рожать их, растить — всё это долго, хлопотно и дорого. И больше в этом нет нужды. Кому нужны новые люди, когда старые просто не изнашиваются? А с тех пор, как усовершенствовали камеру второго поколения, именно так и происходит. Сначала люди живут свои восемьдесят или около того лет обычным образом — семья, работа, увлечения, всё как положено. Потом им дают наркоз, помещают в камеру, и через час-другой они омоложены. Что это значит? Это значит, что их тела словно сбрасывают около 60 лет, а умы, хотя они могут говорить, рассуждают разумно и быстро учатся, в остальном не сформированы. А через 60 лет они повторяют это снова.

Бессмертие ли это? Мало сомнений, что изобретатели камеры покончили со смертью. То же самое тело, с тем же самым мозгом, просто живёт и живёт. Мало сомнений и в том, что эти омоложенные жизни в ряде важных отношений — нормальные человеческие жизни. Проблемы, которые одолевали Э. М., здесь не укореняются. Но действительно ли камера продлевает одну жизнь или вместо этого создаёт череду новых жизней, хотя и имеющих общие части? Может быть, это трудный вопрос, но и не отвечая на него, можно сказать кое-что полезное. Машина, помимо того что обновляет тело, стирает всё своеобразное в уме. Вы выходите, ничего не зная о том, каким были, когда входили. Ваше знание о

мире, ваши вкусы, ваш характер — всё это нужно формировать заново. Вот почему, когда вы видите, как «Челси» в очередной раз играет вничью с «Ювентусом», вам не скучно. И вот почему, когда вы выбираете между политикой и рок-музыкой, ваше решение исключительно важно.

Но эти проблемы бессмертия решаются лишь ценой немалых потерь. Даже если в камеру входит и из неё выходит один и тот же человек, эти разрывы характера и памяти столь предсказуемы и столь тяжелы, что неясно, как кто-либо мог бы думать, будто в этой процедуре вообще есть что-то хорошее. Вы не умираете, но, как при необратимой коме, происходящее так же плохо, как смерть. И неудивительно, что Уильямс, рассматривая такого рода последовательную жизнь, не находит в ней улучшения по сравнению с нашими жизнями, как мы их живём сейчас.

Но возможны и дальнейшие тонкости. Допустим, мы живём не так, как здесь, — одну жизнь, грубо примыкающую к следующей, — а то, что по сути является цепочкой перекрывающихся жизней. Не решит ли это проблему и не даст ли нам наконец что-то стоящее? Но тогда что же это за перекрывающиеся жизни? Как это работает?

*Бесшовная жизнь.* Эрни Моркам, как и Эмилия Марти, родился 337 лет назад. Как и она, он чудесным образом почти не проявляет признаков старения. Те, кто встречает его впервые, думают, что ему под сорок. Но в отличие от неё Эрни нисколько не скучно жить. Расскажите ему даже старый анекдот — и он, скорее всего, рассмеётся. Покажите ему танцевальный номер — и, вместо того чтобы бормотать, что он уже слишком много раз это проходил, он охотно попробует. Может быть, он и старый пёс, но, похоже, новые трюки поступают непрерывно. Как так? Дело в его памяти. О том, что произошло больше 30 лет назад, у Эрни лишь смутные воспоминания. Ещё пять лет — и это забыто полностью. И так всегда. Он всё время оставляет прошлое позади.

Как будто Эрни живёт в своего рода пузыре времени. В отличие от нас с вами, у него никогда не будет причин считать, что уничтожение не за горами. Каковы бы ни были его планы на

ближайшие пять, десять или двадцать лет, он всё ещё будет здесь, чтобы их осуществить. Но, в отличие от Элины Макропулос, глубокая и постоянная забывчивость означает, что Эрни не в состоянии оглядываться на почти бесконечное прошлое и потому не может быть его пленником.

Значит, скука — не проблема. Дайте ему сочинения Шекспира — и он просто не может вспомнить, что уже читал их дюжину раз или больше. Он, не больше чем школьники, знает заранее, что случится с Макбетом или останется ли Корделия в живых. И его жизнь ничуть не более легковесна, его выборы ничуть не менее весомы, чем наши. Хотя он знает, что в одном смысле будет жить вечно, ведь он точно никогда не умрёт, Эрни знает и то, что ему никогда не придётся, подобно обычному бессмертному, удерживать вместе всю полноту опыта. Ведь допустим, он думает, что с гастролями по России спешить незачем: он может поехать и, может быть, с улучшенным номером, лет через сто. Но на самом деле у него нет столько времени, если он хочет, чтобы какое-то занятие или впечатление сочеталось с той жизнью, которой он живёт сейчас. Не будет, можно предположить, ничего сложного или тревожного и в отношении Эрни к характеру. Он читает дневники своих прежних «я», как мы могли бы читать дневники предков или солдат какой-нибудь давней войны, и часто находит, что есть сходство между теми людьми тогда и им самим теперь. Но он ничего не помнит из того, что происходило тогда, и считает себя другим человеком. И потому, в отличие от Э. М., к тому времени, когда он сделал всё, что имеет смысл делать 37-летнему, он уже движется дальше.

В общем, следовательно, жизнь Эрни избегает ловушек бессмертия. Но это во многом потому, что в важном смысле он не бессмертен. То, что непривлекательно в продолжении жизни, что делает его в некоторых отношениях проклятием, — это то, чего изъяны памяти позволяют Эрни избежать. С другой стороны, он избегает и зла смерти. Эрни никогда не покажется, что времени не

осталось. Так что, если принять во внимание обе стороны, эта бесшовная жизнь, может быть, и есть то, на что стоит надеяться.

## Оговорка о выходе

Вернёмся к одному из прежних соображений. Если загробная жизнь религиозного рода — существование в раю или в аду — есть, то, вероятнее всего, она будет длиться вечно. Но действительно ли то же самое может быть с эликсиром? Действительно ли мы можем вообразить жизнь на земле, из которой нет абсолютно никакого выхода? В это трудно поверить. Даже у Ахилла была пята. Когда я читаю о Супермене, мне трудно понять, действительно ли он бессмертен. А Элина Макропулос получала в лучшем случае 300-летние порции вечной жизни. В реальности человек всегда так или иначе сможет умереть. Так что вообразите теперь вот что. Вам предлагают эликсир. Но вы знаете, что, хотя он защищает вас от обычных смертей, у вас всегда под рукой есть выход, путь к отступлению. Вообразите это — и, конечно, возражения против того, чтобы его принять, отпадают.

Может быть. Безусловно, так лучше. Но самоубийство, когда обрывается бессмертная жизнь, было бы столь судьбоносным решением, что большинству из нас было бы чрезвычайно трудно его принять. Почему так? Прекращение жизни всегда имеет один и тот же результат: покончите со всем — и вы навсегда, бесконечно, необратимо мертвы. Но для большинства из нас решиться на самоубийство — значит решиться прожить всего на несколько лет, может быть, всего на недели или дни меньше. Для большинства из нас приговор уже вынесен, и оно лишь ускоряет и без того неизбежный конец. Но для бессмертного решиться умереть — значит оставить позади бесконечность лет. Это гораздо более серьёзное решение. И можно догадаться, что оно может даться нелегко.

## Принять ли мне эликсир жизни?

Эликсира нет. Может быть, его никогда не будет. Может быть, нет и рая. Но, задаваясь, как многие из нас, вопросом, что произойдёт после смерти, безусловно, стоит задаться и вопросом, на что нам следует надеяться. И даже если уничтожение кажется злом, часто предлагаемая альтернатива — бессмертная жизнь — не очевидно лучше. Ведь сделайте подробности такой жизни как можно привлекательнее — и всё равно остаётся опасность, что в долгосрочной перспективе непременно наступят скука, апатия, чувство отчуждения от людей и вещей.

Так по крайней мере обстоит дело для Э. М. и Уильямса. И, подобно им, я думаю, что предпочёл бы в конце концов умереть, чем жить вечно. Но я не уверен, что это не просто соображение обо мне самом. То есть я не уверен, что тот, кто выбирает бессмертие, непременно совершает большую ошибку. Ему нужно признать, что бесконечная жизнь будет необъяснимо отличаться от той, которую он ведёт сегодня, и признать также, что ему нужно будет стать совсем другим человеком, чтобы с ней справиться. Но люди могут меняться, и меняться сильно, и пока сохраняется достаточно характера и памяти, смертный и бессмертный вполне могут быть одним и тем же.

Некоторых это встревожит: они будут думать, что должен быть более ясный и окончательный ответ. Либо бессмертие будет для нас плохим, сколь бы хорошим оно ни было, либо в лучшем своём виде оно есть то, от чего мы были бы глупцами отказаться. Может быть, эти люди правы. Но пока я не вижу, что они правы.

*Глава 7*

# Кто есть кто?

*Ладно, если я не я, то кто же я, чёрт возьми, такой?*
(Арнольд Шварценеггер в роли Дуга Куэйда, «Вспомнить всё»)

Мы все меняемся. И физически, и психологически мы очень различны в 5, 35 и 70 лет. Но для большинства из нас и бóльшую часть времени нет сомнения, что на всём протяжении мы остаёмся одним и тем же человеком. Наша идентичность, то, кто мы есть, во многих отношениях устойчива. И всё же, похоже, здесь должны быть какие-то пределы, и определённые перемены угрожали бы этой идентичности, превращая нас в кого-то другого, в иного человека или — как на последних стадиях болезни Альцгеймера — в кого-то, кто уже по-настоящему вовсе не личность. Вопрос, стало быть, в том, насколько и каким образом я мог бы измениться и всё же продолжать быть собой? Или, иначе говоря, что заключается в том, что определённый человек сохраняется во времени?

Это хороший вопрос по разным причинам. Религия часто предполагает большие перемены в момент смерти или около него. Но, может быть, эти перемены на самом деле слишком велики, чтобы определённый человек мог их пережить. Так что даже если после смерти будет кто-то, кто в некоторых отношениях похож на меня, этот человек всё же может не быть мной. И наука, техника, медицина вместе нацелены на большие перемены для многих из нас. Но опять-таки они могут оказаться слишком большими. Вообразите пересадку мозга или ума, или замораживание и размораживание в криогенике, или перемещение со скоростью света, как в «Звёздном пути» или в фильме «Муха». Даже если после всего этого кто-то, безусловно, существует, это может оказаться не тот человек, которого мы имеем в виду, не тот, с кого

мы начали и кого пытались спасти или переместить. Если мы не сможем решить, кто есть кто, когда определённый человек выживает, а когда его заменяет кто-то другой, то многое из того, о чём мы могли бы молиться или за что могли бы платить, может оказаться пустой тратой времени.

## Взгляд от ума

Поставим вопрос ещё раз иначе. Во вторник вы встречаете кого-то, назовём его просто А. А в четверг встречаете кого-то, Б. Что должно быть истинным, чтобы А и Б были одним и тем же человеком? Какие связи или сходства между ними должны быть? Это не вопрос о том, как вы могли бы узнать, что два человека — одно и то же лицо; это не вопрос о том, как мы можем что-то знать. Скорее, это вопрос более основной — о том, что значит для двоих быть одним, или о том, в чём заключается тождество во времени.

И вот распространённый ответ: если ум тот же, то и человек тот же. Так что если у А и Б один и тот же ум, то они — один и тот же человек, каковы бы ни были физические связи и физическое сходство между ними. Рассмотрим такой воображаемый случай:

*Жёсткий диск.* Среда, и Салман с Ханифом попадают в автокатастрофу. Ханиф ударяется о руль и получает мгновенное и смертельное повреждение мозга. Но в остальном его тело не пострадало. Травмы Салмана гораздо обширнее, но, когда до него добираются врачи, он ещё жив. Действовать нужно быстро. Они подключают тело Ханифа к аппарату искусственного дыхания и берутся за Салмана, записывая, пока есть время, содержимое его мозга на жёсткий диск компьютера. Тем временем они восстанавливают мозг Ханифа, всё содержимое которого утрачено, с помощью кусочков желе и пластика. Затем переносят содержимое мозга Салмана с жёсткого диска в этот восстановленный мозг. Всё прошло на удивление гладко, и к утру четверга они могут отключить аппарат и предложить этому человеку — он выглядит как Ханиф и думает как Салман — позавтракать.

Кому достаётся завтрак? Согласно взгляду от ума, безусловно, Салману. Почему? Потому что этот человек думает как Салман и помнит, что делал Салман. И неважно, что ни одна часть тела Салмана не уцелела, что его уже кремировали, а пепел пустили по Темзе. Того, что его ум сохранился и продолжает работать более или менее как прежде, достаточно, чтобы обеспечить продолжение существования самого Салмана.

Верен ли взгляд от ума? Многие так и подумают. Ведь многие думают, что важное в нас, то, что делает нас тем человеком, которым мы являемся, — это как раз то, что у нас есть определённые воспоминания, определённые убеждения, склонность действовать и думать определённым образом. И именно поэтому, по-видимому, есть некоторое утешение и нет ничего слишком загадочного в идее жизни после смерти в виде бестелесной души; и поэтому же перевоплощение в оленя или чайку может казаться привлекательным, пока мы предполагаем, что наш человеческий ум каким-то образом сливается с телом животного. Взгляд от ума хорошо согласуется и с нашими реакциями на истории в книгах, на телевидении или в кино. Грегор Замза в «Превращении» Кафки просыпается и обнаруживает, что заключён внутри огромного жука. И мы соглашаемся, что именно это и произошло: это рассказ о несчастном человеке, а не о насекомом, впавшем в заблуждение. Доктор в «Докторе Кто» каждые несколько лет оказывается в новом теле, хотя и в той же одежде. Он думает, и мы думаем, что это один и тот же человек, продолжающий жить дальше и дальше, просто потому, что его ум и его воспоминания более или менее те же.

Правда, эти истории не вполне похожи на историю Салмана и Ханифа. Ведь, может быть, человеческое тело Замзы не просто исчезает, а превращается в тело жука. И, может быть, точно так же тело Доктора каким-то образом регенерирует, а не заменяется совершенно новым и иным телом. Может быть, как во многих рассказах Овидия, есть непрерывность — хотя и при удивительной степени изменения — физического вещества. Но я не думаю, что

эта подробность решающая для нашего понимания: мы поняли бы так или иначе. И кажется довольно ясным, что телепортатор в «Звёздном пути» действительно заставляет одно тело полностью исчезнуть, а новое — образоваться в другом месте. Но мы не думаем, что создаётся новый человек: поскольку у этого человека тот же ум, что у Кирка или Спока, мы думаем, что выживает именно Кирк или Спок.

Конечно, большинство из нас признаёт, что это всего лишь истории. И мы по большей части согласны, что любые наши верования в загробную жизнь несколько не дотягивают до доказанного факта. Так что, может оказаться, что отделить умы от тел, а затем поместить их куда-то ещё или дать им просто свободно парить, невозможно. Тем не менее, может быть, эти истории говорят нам что-то о нас самих, о том, что для нас важно, и о том, чем, по нашему мнению, мы по сути являемся.

Другой аспект взгляда от ума, впрочем, безусловно не вымысел. Может быть, у нас никогда не будет умов без тел, но слишком часто у нас бывают тела без умов. Люди умирают. Перед смертью они иногда полностью теряют рассудок, как когда после несчастного случая впадают в кому или в стойкое вегетативное состояние, или почти полностью, как на поздних стадиях болезни Альцгеймера или какого-нибудь другого дегенеративного заболевания. Подумайте только о тех случаях, когда жизнь продолжается. Здесь есть живое человеческое существо, но есть ли личность? Существовали бы вы ещё?

Взгляд от ума говорит: нет. Есть кто-то живой во вторник, и кто-то живой в четверг. Если ум тот же, то и человек тот же. Но если ума нет, то, есть ли здесь человеческое существо, мёртвое или живое, или нет, личности нет вовсе. А если ум другой, то и человек другой. Итак, рассмотрим:

*Ты — то, что ты ешь.* В конце 1970-х в Сан-Франциско было знаменитое дело. Признав, что убил мэра и члена городского совета, Дэн Уайт отрицал умышленное убийство. И некоторым казалось, что в той роковой потере самоконтроля он винит нездоровую пищу,

в частности пирожные «Твинки». Слишком много сахара. Но это уже старо. Новые батончики, «Слинки», куда сильнее. Два-три таких — и происходит полный сдвиг личности: вы ничего не помните о своём прошлом и ведёте себя совершенно иначе — командуете, сквернословите, плохо одеваетесь.

«Слинки» действуют на вас плохо. Но насколько плохо? Меняют ли они ваше поведение? Или делают так, что вы, может быть временно, больше не существуете? Согласно взгляду от ума, каждого из нас составляет наша психология, а она, в свою очередь, включает наши мысли, убеждения, характер, склонности и память. Когда всего этого нет, нет и нас, продолжает ли существовать тело или нет. Съешьте достаточно сладостей — и вы можете попросту исчезнуть. Такой взгляд покажется странным, но он получает некоторую поддержку от наших реакций на многие случаи радикального сдвига личности. Допустим, вашу подругу захватил злой гипнотизёр или кто-то с запасом психотропных средств и убедил её, что она — перевоплощение Аттилы, вождя гуннов. Под властью этого убеждения она совершает ряд несказанных злодеяний. На следующий день действие препарата проходит или кто-то щёлкает пальцами, и ваша подруга возвращается в обычное состояние, не сознавая всего, что натворила. Конечно, закон не счёл бы её ответственной, а занялся бы поисками гипнотизёров или торговцев зельем. И большинство из нас согласились бы, что она не виновата. Это, конечно, не доказывает, что закон или здравый смысл действительно считает, будто кто-то может временно перестать существовать. Но это даёт этой идее некоторую поддержку и, думаю, указывает, что взгляд от ума не очевидно ошибочен.

В других случаях он может быть ещё сильнее. Вообразите спиритический сеанс. Вечеринка в загородном доме, и, устав играть в бридж, гости хотят выяснить, есть ли здесь кто-нибудь. Портвейн, сигары, задёрнутые шторы, приглушённый свет. Миссис О’Кейди вскоре впадает в транс и начинает говорить — убедительно — так, словно она двоюродный дед хозяина, Сесил, тот, что погиб на

англо-бурской войне. Обычно такое длится пять-десять минут. Но на этот раз её невозможно привести в себя, и после этого, до самой своей смерти, она ничего не помнит о собственной жизни, но неизменно говорит и ведёт себя так, будто знает Мафекинг из первых рук. В такой ситуации, когда сдвиг личности постоянен и когда мы можем отождествить эту новую личность с определённым человеком, мы, думаю, были бы ещё более склонны сказать, что первый человек исчез (либо полностью, либо по меньшей мере неизвестно куда) и его заменил второй. Значит, тождество человека определяет ум, а не тело.

## Взгляд от тела

Некоторые думают, что всё это совершенно неверно. Кто-то во вторник, кто-то в четверг. Человек тот же тогда и только тогда, когда в оба дня это та же физическая вещь, то же животное, то же человеческое существо. В установлении личной идентичности работу выполняет тело, а не ум.

Здесь стоит разобрать ещё некоторые подробности. Сторонники взгляда от тела, конечно, допускают, что тела могут меняться. Во вторник Маргатройд плохо себя чувствует. В среду ей успешно пересаживают сердце. В четверг она всё ещё существует, хотя её тело не оставалось всё время тем же. Так насколько может измениться тело, а человек остаться тем же? Многие думают, что решающая составляющая — мозг и что части, кроме мозга, мы в принципе можем заменить, не ставя под угрозу существование человека. Другой вопрос касается жизни. Допустим, операция не удалась. Существует ли она ещё в четверг? Большинство скажет: нет — и будет настаивать, что, когда мы умираем, человек перестаёт существовать. Я выживаю, пока это тело продолжает жить и дышать. Но это, в сущности, всё, что важно. Я выживаю, о чём бы я ни думал, сколько бы ни забыл, что бы мне ни казалось, будто я помню.

Нам очень важно, что люди думают и во что верят, как себя ведут, сколько из своей жизни помнят. Сторонники взгляда от тела это принимают. Поэтому они признают, что очень тяжело, если значимого для нас человека постигает какая-то душевная катастрофа. Но как вы продолжаете существовать, хотя и в худшем состоянии, если теряете ноги в несчастном случае, так и если теряете рассудок. И, конечно, сказанное здесь взглядом от тела подкрепляется повседневными реакциями. Трое родственников попадают в аварию на лодке. Один тонет, второй получает такое повреждение мозга, что после этого находится в стойком вегетативном состоянии, третий частично выздоравливает, но его умственные способности не выше, чем у годовалого ребёнка. Для большинства из нас это три трагедии, но лишь в первом случае будет сравнительно легко сказать, что человека больше нет, почувствовать, что можно подвести черту и жить дальше. И подумайте о таких фильмах, как «Вторжение похитителей тел», «Степфордские жёны» или разные фильмы о Дракуле. Обычных людей захватывают — тела их нетронуты, умы превращены в зомби — пришельцы, вампиры или стопроцентно американские мужья. Пути назад нет, нет никакой возможности вернуть этих людей в прежнее состояние. И угроза нависает над ещё большим числом людей. Но, хотя так было бы лучше всего, трудно списать этих людей со счетов, признать, что их больше нет, и убить то, чем они теперь стали. Трудно не думать, что, пока живое тело уцелело, уцелел и человек.

Но только ли другие продолжают существовать, хотя их умов нет? Или мы так же думаем и о себе? Бернард Уильямс предлагает нам рассмотреть такого рода ситуацию, которая возникает в следующем примере:

*По ту сторону пытки.* Могут случиться плохие вещи. Доктор Закс, садист, захватывает всех троих. Он говорит Джулиану, что его будут пытать. К разным частям его тела прикрепят провода и включат ток. Джордж узнаёт, что сначала её заставят забыть всё, что с ней когда-либо происходило, затем лишат всех черт её

характера, а потом вместо этого внедрят набор поддельных воспоминаний и поддельный характер. Вмешательство в тело и вмешательство в ум — и то и другое плохо, и Джулиан, и Джордж боятся. А Тимми? Он узнаёт, что сначала составит пару Джордж и получит поддельный ум вместо настоящего. А затем его поставят рядом с Джулианом, прикрепят провода, и его будут пытать. Он тоже боится.

Закс хорошо знает своё дело и, безусловно, даёт всем троим повод для беспокойства. Но насколько должен бояться Тимми? Его участь так же плоха, как участь Джордж, или ещё хуже? Согласно взгляду от ума, Закс уничтожит Джордж и заменит её кем-то другим. Может быть, позже он всё вернёт назад, сохранив её данные на своём ноутбуке, а может быть, и нет. Но если это верно и если то же самое произойдёт с Тимми, то любая последующая пытка — проблема не его, а нового человека.

Уильямс думает, что большинство из нас боялись бы — и были бы правы, боясь, — если бы нам угрожали обращением, подобным тому, что ждёт Тимми. Но не просто потому, что мы получим то же, что Джордж. Быть пытаемым — плохо. И это остаётся плохим, если предварительно ваши воспоминания уничтожены, внедрены поддельные и ваш характер изменён. Мы существуем, пока существует наше живое тело, и то, что происходит с этим телом, происходит с нами.

## Выбирая сторону

Какой взгляд верен? Я — мой ум или моё тело? Существую ли я, пока и только пока продолжаются такие-то мысли, воспоминания, склонности, или я существую, пока и только пока это тело остаётся живым? Вопрос о том, кто или что мы такое, конечно, важен и заслуживает ответа.

И это трудный вопрос. Прежде чем ввести описанный выше случай с пыткой, Уильямс обсуждает другой случай, примерно такой:

*Боль или выгода.* Это одна из тех странных телевизионных игр. Ханне и Сильви сообщают, что одна из них получит деньги, а другую ждут 10 минут пытки. Они не подруги, и каждая хочет денег для себя, а пытки — для другой. Но это потом. Сначала им нужно войти в машину для обмена умов, а затем выйти из неё. У одной из выходящих будет тело Ханны и, по-видимому, ум Сильви, а у другой — тело Сильви и, как кажется, ум Ханны. Перед тем как они войдут в машину, Сильви спрашивают, которую следует пытать, а которую наградить. Она думает. «Терпеть не могу пыток. Отдайте мне — с моим умом и телом Ханны — деньги. Пытайте её — с умом Ханны и моим телом. Так я ничего не почувствую».

Может быть, это несколько жестоко по отношению к Ханне, но большинство из нас сочтут, что Сильви приняла здесь правильное решение. Она там, где её ум. И этот случай очень похож на случай с Ханифом и Салманом, только здесь выживших двое, а не один. И если Салман выживает, но в теле Ханифа, то, конечно, Сильви выживает, пока и там, где выживает её ум. Беда, однако, в том, что это похоже и на случай Тимми, только опять людей двое, а не один. С умом Тимми проделывают манипуляции, а затем его пытают. Но разве не то же самое происходит с Сильви? Если, как кажется, Тимми прав, боясь того, что случится с его живым сознающим телом, то, конечно, Сильви неправа, думая, что, раз её ум переделан, пытка её тела — не пытка для неё. Но если она неправа, думая так, то и друзья Салмана неправы, думая, что Салман пережил катастрофу. Он может верить, что он Салман, но на самом деле это Ханиф, хотя и сильно изменившийся.

Сопоставьте разные случаи таким образом — и трудность выбора между взглядом от ума и взглядом от тела становится ещё заметнее. Мы хотим сказать: конечно, Тимми прав, боясь пытки. Но хотим сказать и: конечно, Салман выжил. Но, похоже, нельзя сказать и то и другое. А что до Сильви, охотно отдающей других на пытку…

Чтобы выбраться из этой путаницы, нужны ещё вопросы. Ответьте на них — и, может быть, мы сможем яснее понять личную идентичность.

## Имеет ли значение число?

В большинстве обычных случаев люди просто живут изо дня в день, без каких-либо угроз их идентичности и без загадок по её поводу. Часто, когда что-то идёт не так, участвует лишь один человек. Эндрю неудачно «закинулся» — у какого-то сомнительного дилера в Саут-Сайде, — и, хотя он всё ещё жив, люди гадают, действительно ли он с нами. Никто не спрашивает, не кто-то ли он другой. Иногда людей двое, и мы гадаем, с кем после сеанса разговариваем — с О'Кейди или с Сесилом. Есть, по-видимому, тело одной и ум другого. То же самое с последствиями катастрофы, где кажется, что Салман может выжить в теле Ханифа.

Стоит подумать о том, влияет ли — и как — число вовлечённых людей на эти проблемы идентичности. Некоторые защитники взгляда от тела ссылаются на затруднения с числом в поддержку своей позиции. Они думают, что беда с умами в том, что они могут объявиться где угодно:

*Ещё более жёсткий диск.* В машине было трое. Как и у Ханифа, тело Насрина уцелело, но и его мозг приходится восстанавливать с помощью желе и пластика. Тело Салмана разрушено, но, поскольку содержимое его мозга хранится в компьютере, врачи могут залатать тело и мозг Ханифа и запрограммировать этот живой организм умом Салмана. Но они опасаются, что операция может не удаться. И поэтому, для надёжности, а также поскольку информация всё ещё в компьютере, они тем же способом программируют тело Насрина. Но обе операции проходят успешно, так что завтрак заказывают дважды. На одной кровати — некто, выглядящий как Ханиф и думающий, что он Салман, — ест варёные яйца и пьёт чай. На другой — некто, выглядящий как Насрин, думающий как Салман, — с кофе и круассанами.

Согласно взгляду от ума, теперь есть два Салмана. Есть всего один человек, который теперь, так случилось, существует в двух разных местах. Но, конечно, говорят сторонники взгляда от тела, это не может быть правильным. Начнём с завтрака. Почему они едят разное? Почему Салман просто не заказал дважды своё обычное, что бы это ни было? Что ж, то, что мы хотим съесть, отчасти определяется тем, что нам подсказывает тело, а разные тела, по-видимому, подсказывают разное. Может быть, Салман раньше каждый день ел хлопья, так что он несколько удивлён обоим выборам. Но это только начало. Отныне два Салмана будут становиться всё более и более разными — их мысли, поступки, планы и последующие воспоминания будут формироваться их всё более различным опытом. Пройдёт несколько месяцев — и у любого, кто их встретит, не будет сомнений, что это два разных человека, хотя каждому из них, по-видимому, кажется, что до недавнего времени с обоими происходило одно и то же. Поскольку здесь два разных человека и поскольку ни один не имеет более сильного притязания быть Салманом, чем другой, то, по-видимому, ни один из них и не может быть Салманом. Он не пережил катастрофу, даже если по крайней мере какое-то время и Ханиф, и Насрин, по-видимому, действуют и думают как он.

Сторонники взгляда от тела здесь, безусловно, что-то нащупали. Есть проблема в мысли, что вы выживаете, пока выживает ваш ум. Двойное выживание — не премия, а вызов убеждению, что вы сохраняетесь во времени. Но затем эти сторонники развивают наступление ещё дальше. Если мы приходим к ситуации, описанной в случае «Ещё более жёсткий диск», то Салман не выживает. Но тогда он не выживает и в более ранней ситуации, где жертв катастрофы только двое. Выживание Салмана в теле Ханифа не может зависеть от присутствия и судьбы третьего человека, Насрина. В более общем виде: является ли кто-то в четверг тем же человеком, что кто-то в среду, должно зависеть только от связей между ними. Это не может зависеть от того, что происходит или не происходит с кем-то ещё. И потому даже сама

возможность двойного выживания свидетельствует против взгляда от ума.

Меня в этом беспокоит то, что это может работать и против взгляда от тела. Допустим сначала, что важна, как предполагалось ранее, лишь часть тела — мозг. Так что вы выживаете, если ваш мозг пересадят в другое тело. Но мозг — не душа, не простая неделимая вещь, и, как клинический факт, вы выжили бы ничуть не хуже, если бы пересадили меньше, чем весь мозг. Итак, вообразите:

*Нокауты*. Кен и Джо, обмениваясь ударами, добрались до последнего раунда. Трудно сказать, кто впереди по очкам. И тут, за считанные секунды до конца, — двойной нокаут: оба падают, и ни один не приходит в сознание. На трибунах поднимается шум, и в давке, торопясь передать репортаж, погибает Генри, спортивный обозреватель WFXM. Все трое оказываются в одной больнице: у обоих боксёров смертельное повреждение мозга, у Генри ещё теплится надежда. Но лишь теплится: тело его разрушено, есть и травмы головы. Врачи, однако, считают, что левое полушарие его мозга всё ещё цело, и, поскольку одной половины достаточно, чтобы управлять телом и поддерживать ум, они пересаживают её в тело Кена. Так что Генри выживает — на волосок от смерти. Но тут младший врач ещё раз смотрит на правое полушарие мозга Генри и видит, что повреждения там гораздо меньше, чем казалось сначала. Работая наперегонки со временем, он пересаживает его в тело Джо. Обеспечив Генри двойное выживание, врач уверен, что повышение у него теперь в кармане.

Но праздновать ему не стоит спешить. Как и прежде, двое не могут быть одним, и то, что кажется двойным успехом, на самом деле есть единичная неудача. Генри больше нет. Допустим, врач спотыкается о расшатанную плитку и роняет эту вторую половину мозга Генри. Но если возражение работало против взгляда от ума, оно работает и здесь. Выживает ли Генри в теле Кена или нет, не может зависеть от того, что происходит в другом месте. Это не может зависеть от того, успешно ли пересажена запасная часть его мозга.

Допустим, вы думаете, что нужно больше, чем половина мозга. Вы можете даже думать, что нужно всё тело. Научно-фантастический фильм. Саша много работает, возвращается домой, ложится в постель, засыпает. Ночью его тело таинственным образом делится, и на следующее утро просыпаются двое. Двое не могут быть одним, и потому Саша не выжил. Вы можете подумать, однако, что если идентичность теряется, когда происходит такое деление, то она в лучшем случае шатка на всём протяжении. Тот ли человек, что просыпается утром, что засыпает вечером, не должно зависеть от счастливой случайности, что деления не произошло.

В описанных здесь случаях мы приходим к двум людям, каждый из которых может на весьма сходных основаниях притязать на то, чтобы быть исходным человеком. В других случаях основания могут быть различны. Даже тогда будет трудно выбрать между ними. Но забудем на время о людях и подумаем вместо этого вот о чём:

*Корабли.* Руританцы хотят иметь флот. Они покупают корабль у кубинцев, переименовывают его в «Аделаиду» и очень им гордятся. Но, чтобы быть готовыми к войне, они полностью разбирают корабль, чистят и ремонтируют все детали, проверяя их на износ, а затем собирают его вновь. В то же время они составляют программу обновления, договорившись в будущем заменять детали одну за другой, прежде чем они полностью износятся. И в течение следующих пяти лет детали постепенно заменяются точными копиями, поставляемыми кубинцами, пока к концу этого срока не остаётся ни одной из первоначальных деталей. Что происходит с этими деталями? На всякий случай их тщательно нумеруют и хранят на складе.

Можно ли разобрать и снова собрать корабль? Конечно, можно. И собранный заново корабль — это «Аделаида», а не какая-то копия. Можно ли заменять детали корабля? Разумеется. И, по-видимому, нет причин полагать, что при постоянной программе ремонта мы не можем заменить все детали. Ни одна деталь в отдельности не является решающей для идентичности корабля, и

нет веских оснований думать, что заменить можно лишь 49 процентов, или 99 процентов, или вообще какую-либо иную долю деталей, прежде чем идентичность будет утрачена. Пока всё хорошо, но беда — на складе. Из-за новой угрозы войны пуританцы решают, что им нужно удвоить флот. Поэтому они берут детали со склада и собирают из них корабль. Какой корабль? Конечно, это разобранная и вновь собранная «Аделаида». Но, конечно, так же и столь же несомненно, другой корабль — это «Аделаида», тот, что существовал всё время, теперь со всеми заменёнными первоначальными деталями. Один стал двумя.

Ситуация с кораблём отчасти похожа на ситуацию с Тимми, Ханной и — до появления Насрина — Салманом. Мы думаем, что кто-то, как Тимми, может подвергнуться вмешательству в свой ум и всё же выжить. Думаем также, что кто-то может получить совершенно новое тело, как Салман, и всё же выжить. Но если нас всё это устраивает, то возникает проблема для Ханны, которая теперь, по-видимому, выживает дважды: есть её тело с испорченным умом и есть её ум в теле, совершенно новом для неё. Она стала двумя.

Похоже, стало быть, что число имеет значение. Чем больше вовлечено людей и частей людей, кораблей и частей кораблей, тем загадочнее часто становится дело. Мы верим, что человек с телом Ханифа — Салман. Но затем узнаём о ком-то ещё, Насрине, выясняем, что произошло с ним, и больше в это не верим. И это загадка. Но, как я предположил, это загадка, говорящая не только против взгляда от ума. Она затрагивает и взгляд от тела.

## Всё или ничего?

Кто-то во вторник, кто-то в четверг. Тот же это человек или кто-то другой? Допустим, во вторник вам нужна опасная операция. Иногда люди, перенёсшие такие операции, получают некоторое повреждение мозга. Это может случиться и с вами. И вы гадаете, переживёте ли вы операцию и будете ли ещё здесь в четверг. Очень

соблазнительно думать, что на такие вопросы должны быть ответы. Либо это будет тот же человек, либо кто-то другой. Либо вы выживете, либо нет. Полумерам нет места, и идентичность — это всё или ничего.

Но, может быть, так думать ошибочно. Может быть, есть случаи, когда мы не просто не знаем, а когда просто нет однозначного ответа на то, кто этот человек и выживает ли он. Подумаем о другом корабле:

*Военные корабли.* Кубинцы захватывают корабль у французов. Это фрегат, лёгкий, построенный из лучшего французского дуба и весьма манёвренный под парусами. На квартердеке есть повреждения от ядер, и они принимаются за ремонт. А затем год за годом ремонт продолжается. Но кубинцы не привязаны к прошлому и не настаивают на точных копиях деталей. Если можно что-то улучшить, они улучшают. И так постепенно они добавляют металлические части — сначала как обшивку, позже как замену основных деревянных конструкций. Появляется вспомогательный двигатель, затем более мощный, а ещё позже снимают мачты и паруса. Весь корабль становится также длиннее и шире, и то, что начиналось как фрегат, теперь переклассифицировано в линкор. А потом, нуждаясь в деньгах, они продают его руританцам.

Сколько здесь кораблей? Конечно, корабль, который они сначала захватили, отличается от того, который позже продали. Деревянный фрегат — одно, железный линкор — другое. И это так, даже если первый превратился во второй. Или подумайте о гончаре, который из одного и того же кома глины сначала делает высокую вазу, а потом, недовольный, превращает её в низкую чашу. Ваза — одно, чаша — другое. И всё же нет момента, когда первый корабль превращается во второй или когда ваза становится чашей. Это постепенный процесс. Кто-то спрашивает: «Это фрегат?» Вначале ответ — да, позже — нет. Но есть период посередине, когда на этот вопрос нет ответа «да» или «нет».

То же самое и когда вещи перестают существовать. Вообразите современного художника, чьё «произведение» в модной галерее

состоит в том, чтобы съесть обеденный стол. Дерево не особенно удобоваримо, так что это занимает больше года. В первый день стол цел. Первый кусок художник откусывает на второй день, а последний — пятьсот дней спустя. В первые десять дней в галерее, безусловно, есть стол, в последние десять стола, безусловно, нет. Но есть период посередине, когда на вопрос «Это стол?» нельзя ответить «да» или «нет».

И, конечно, то же самое с людьми. Безумный учёный захватывает Тома Круза и постепенно превращает его в точную копию Николь Кидман. Каждый день он немного изменяет его тело — чуть выше, чуть округлее — и каждый день немного изменяет его ум, стирая одни воспоминания и добавляя другие или заменяя мужское доминирование женской хитростью. В конце процесса Тома больше не существует, но нам было бы трудно сказать, когда именно это происходит. «Тот же ли это человек?», как и «Тот же ли это корабль?», может не иметь ответа «да» или «нет». Другой учёный, с меньшим воображением, озабочен лишь тем, чтобы Харрисон Форд исчез. Он захватывает его и постепенно удаляет части его тела и части его ума, поддерживая остатки в живых с помощью аппаратов искусственного дыхания и в чашках Петри, пока ничего не остаётся.

Против этих аналогий есть два возражения. Во-первых, разве что в метафорическом смысле, у кораблей и столов нет душ. У людей, может быть, есть. Если у нас есть души, то, может быть, я существую пока и только там, где существует моя душа. А если душа — простая и неделимая вещь, то, если предположить также, что её нельзя удвоить, никаких осложнений нет: она либо существует, либо нет, и на вопрос, существую ли я, всегда есть ответ «да» или «нет». Но, повторю мысль из одной из прежних глав, нет веских оснований думать, что у людей есть души или что люди — души. Второе возражение цепляется за один вариант взгляда от тела и пытается кое-что из него извлечь. Все согласны, что некоторые части тела можно удалить, а может быть, и заменить, не затрагивая того, кто я есть. Но многие думают, что мозг — особый

случай. Сохраните его — и я остаюсь. Замените — и меня нет. Так что если учёный на всём протяжении сохраняет мозг Тома, то Том продолжает существовать, что бы он ни думал и как бы ни выглядел. Допустим, в таком случае, что, помимо вмешательства в остальное тело, учёный постепенно, частица за частицей, заменяет и мозг. В конце концов, это, может быть, самый лёгкий способ вмешаться в его ум. Так что если Тома следует отождествлять с его мозгом, то в итоге его больше не существует. Но поскольку его мозг заменяется лишь постепенно, его прекращение существования также есть постепенный процесс. И потому внутри этой дьявольской процедуры будет долгий период, когда на вопрос «Том это или нет?» просто нет ответа. Так же и с Харрисоном. Постепенно его мозг исчезает.

Это, конечно, вымышленные случаи. Но при болезни Альцгеймера — в слишком многих реальных случаях — ум действительно постепенно исчезает. И хотя мы ещё далеки от чего-либо подобного ситуациям в «Робокопе», хирургия с заменой органов становится всё более обычной. Так что различие между вымышленными и реальными случаями — различие в степени, а не в роде. Может быть, нам следует признать, что уже сейчас идентичность — не всё или ничего.

## Решение? И проблема?

Делать ли нам упор на ум или на тело? Угрожает ли удвоение и угроза удвоения нашему выживанию? Является ли наше продолжающееся существование иногда или всегда делом степени? Некоторые философы предложили способ справиться с такими вопросами. Нам следует принять концепцию идентичности как *ближайшего продолжателя*. Она такова. Кто из людей, находящихся здесь в четверг, тот же, что человек, которым мы были озабочены во вторник? Обычно здесь нет проблемы, но иногда она есть. Если есть два человека, каждый из которых может привести какие-то доводы, выберите того, чьи доводы сильнее. Если самые

сильные доводы всё же очень слабы, то человека из вторника больше не существует. Если два набора доводов одинаково сильны, то опять-таки этого человека больше не существует.

Подумайте о Кирке в телепортаторе. Если всё идёт хорошо, он исчезает на Земле и появляется вновь на Марсе. Но про техобслуживание на 10 миллиардах миль забыли, и в следующем путешествии возникают проблемы. Он появляется на обеих планетах. Это может быть концом его существования, но, может быть, найдутся причины предпочесть одного Кирка другому. Допустим, один из них призрачен, или повреждён рассудком, или на следующий день превращается в межгалактическое чудовище. Тогда Кирк — другой.

И подумайте о некоторых из описанных выше случаев. Если мы не собираем хранящиеся детали, то обновлённый корабль — «Аделаида». Если мы никогда не начинаем программу замены, а просто разбираем, чистим и собираем заново один корабль, то «Аделаида» — он. Проблема возникает лишь тогда, когда процедуры соединяются. Подобным образом Ханиф переживает катастрофу, Тимми выдерживает извращения доктора Закса, а Ханна, раздвоившись, перестаёт существовать. И Ханиф тоже перестаёт существовать, если в машине Насрин и перепрограммированы два тела.

Может быть, это не совсем верно. Может быть, непрерывно существующий корабль имеет приоритет перед тем, который разобран и собран заново. Может быть, тело бьёт ум, так что Ханиф, возможно, и отправился на небеса, но завтракает Салман. Но это подробности. И концепция ближайшего продолжателя показала нам путь вперёд. Она показала нам, как подходить к этим загадкам идентичности и как решать связанные с ними проблемы.

Думаю, в этом много верного. Но нужно сделать важную оговорку. Это оговорка, касающаяся значительной части дела философии и многих вопросов, задаваемых в этой книге.

Почти всегда, когда задают вопрос, соблазнительно принять его за чистую монету и думать, что на него есть какой-то ответ. Есть,

может быть, некоторые очевидные невопросы — «Какого цвета число 7?» — и некоторые известные уловки — «Когда вы перестали бить жену?», — но по большей части вопросы выглядят простыми и принимаются как простые. Этому соблазну, однако, лучше противиться. Если нас спросят, как началась вселенная, мы можем подумать, с одной стороны, о Большом взрыве, а с другой — о Боге. Но, может быть, нам следует вместо этого учесть, что у неё могло и не быть начала, и потому потребовать предварительного вопроса, выносящего эту возможность на обсуждение. Подобным образом популярный ныне в телепередачах вопрос «Какие десять книг величайшие всех времён?», вероятно, стоит отложить в пользу вопроса, имеет ли смысл сама идея величайших книг. Но многие философские вопросы и реакции многих людей на эти вопросы точно так же пропитаны допущениями, многим из которых не следует давать лёгкого прохода. Сократ всегда искал подлинную природу справедливости, благочестия, мужества и так далее, и этот подход продолжается почти без перерыва, так что многие современные обсуждения сосредоточены на том, чтобы дать, например, определение знания, или искусства, или истины. Я не утверждаю, что такого рода занятие в принципе ошибочно, и в конце концов бывает очень увлекательно придумать определение, найти какой-то проблемный случай, реальный или воображаемый, подправить определение, чтобы оно подошло, обнаружить новую проблему и так далее на протяжении большей части своей карьеры. Но, безусловно, есть основания время от времени останавливаться и спрашивать о правомерности этих допущений — что у вещей есть природа, что есть определения, которые надо найти, что мы можем точно сказать, что есть то-то и то-то. Есть основания, следовательно, вместо того чтобы пытаться прямо решить предполагаемую проблему, сначала спросить, реальна ли проблема и нужно ли решение. И это тоже часть того, чем занимается философия.

Вернёмся к вопросам об идентичности. Я предположил, что иногда мы можем, а иногда не можем сказать, кто в четверг — тот

же человек, что кто-то во вторник. Во многих случаях ответ совершенно очевиден, иногда концепция ближайшего продолжателя рассудит двух кандидатов, а в других случаях, может быть, просто нет ответа на вопрос, выживает ли человек из вторника. Но теперь, думаю, важно понять, что решающего различия здесь нет. Вы можете думать, что в тех случаях, когда есть ясный ответ — несомненно, что я тот же человек, что был вчера, и несомненно также, что ни один из подражателей Элвиса на самом деле не Элвис, — это потому, что есть нечто, некий глубокий, хотя здесь и доступный, факт об идентичности, который делает этот ответ правильным и ясным. А значит, в тех случаях, когда ответа нет, этот глубокий факт отсутствует. Но это неверно. Когда мы с полным основанием уверены, что кто-то пережил ночной сон, или небольшую операцию, или удар по голове, это не потому, что мы постигли какой-то глубокий метафизический факт об идентичности, который на протяжении этого периода остаётся тем же. Скорее, это потому, что обычные поверхностные факты о происходящем — степень, нормальность, причины любых изменений, которые могут произойти, — дают эти основания и делают эту уверенность уместной. Но в других случаях — и, к счастью, их меньше — обычные поверхностные факты иные, они разрушают основания для уверенности и оставляют дело подвешенным.

И потому концепция ближайшего продолжателя, даже если я, по-видимому, отдаю ей предпочтение, не даёт нам подлинной истины об идентичности и не составляет теоретической позиции, которую нам нужно принять и которой следовать. Скорее, она просто достаточно близко приближается к тому, что мы уже и так думаем, говорим и делаем.

## Кто есть кто?

По большей части проблемы здесь нет, и легко сказать, тот ли человек, которого мы видим в конце недели, что мы видели в её

начале. Но в других случаях, и реальных, и воображаемых, проблема есть. Люди меняются, происходят странные вещи, и бывают моменты, когда перемены или обстоятельства могут заставить нас усомниться в идентичности человека перед нами. Как решить дело? Даже если потребуется время, чтобы разобраться в подробностях, и взгляд от ума, и взгляд от тела в конечном счёте предлагают здесь довольно однозначные критерии. Примените их — и вопрос о том, тот же это человек или кто-то другой, найдёт ответ.

Проблема, однако, теперь в том, что ни один из этих взглядов не убеждает полностью. Хотя у каждого есть свои достоинства, оба сталкиваются с серьёзными трудностями. Каждому приходится отражать вызов другого, оба подвергаются давлению различных головоломных случаев, особенно, может быть, связанных с удвоением, а взгляд от тела может увязнуть в произвольных различениях относительно того, сколько именно тела или мозга нужно, чтобы сохранить идентичность. Но насколько серьёзны эти проблемы? Могли бы мы, несмотря на них, доказать, что один из этих взглядов верен? Мог бы один из них быть верным, даже если мы не можем этого доказать? В других областях, конечно, нет трудности с мыслью, что истина может быть хорошо скрыта: мы очень мало знаем об изменении климата, о работе мозга или о том, как началась вселенная. Но, конечно, совсем не ясно, как вопросы идентичности во времени — будь то сравнительно простых вещей вроде кораблей или ваз или более сложных существ, людей вроде нас с вами, — могли бы точно так же быть глубоко таинственными и непостижимыми. Не ясно, следовательно, как, при всех их трудностях, мог бы быть верен взгляд от ума или взгляд от тела. И хотя можно стиснуть зубы и держаться того или другого из этих критериев, что бы ни случилось, похоже, есть основания поискать в другом месте.

Взгляд ближайшего продолжателя, как я предположил, справляется лучше. Применяйте его от случая к случаю — и его вердикты обнаружат лучшее соответствие нашим повседневным

интуициям об идентичности и о том, где её искать. У него тоже есть проблемы, но они на шаг дальше — в том, чтобы ответить на возражения тех (а их много), кто думает, что положение дел с идентичностью должно быть яснее, чётче, чем допускает этот взгляд. И, в частности, возражение состоит в том, что, конечно, в каждом случае должен быть определённый ответ на вопрос, выживает данный человек или нет. Без этого предстоит ещё долгий путь.

Но рассмотрим ещё раз два проблемных случая, один воображаемый, другой реальный. Одни считают, что Салман выживает, поскольку выживает его ум, а другие думают, что непрерывность его тела и восстановленного мозга означает, что завтракает Ханиф. Но все согласятся, что у нас есть тело Ханифа и, в каком-то бесспорном смысле, ум Салмана. Согласятся они и в том, как именно мы пришли к этому положению. Так что загадка, Салман или Ханиф завтракает, на самом деле не загадка о том, каковы факты, — это лишь загадка о том, что лучше всего, естественнее всего или уместнее всего сказать. Но разногласие здесь чисто словесное, и лучшего, самого естественного ответа может просто не быть.

И реальный случай. Некоторые думали, что, когда его ум и память угасли, Рональда Рейгана больше с нами не было. Для других, пока была жизнь, бывший президент всё ещё существовал. Но опять-таки здесь нет никакого подлинного разногласия, нет открытия, которое мы могли бы сделать или вообразить, что могли бы сделать, и которое решило бы вопрос так или иначе. Опять-таки загадка, если она есть, — лишь в том, что покажется нам лучшим способом выразиться.

*Глава 8*

# Неужели всё бессмысленно?

> *Однажды у меня в такси ехал Бертран Рассел. Ну я и спрашиваю: «Ну так что, лорд Рассел, в чём смысл всего этого?» И, представляете, он не смог мне сказать.*
>
> (Лондонский таксист)

«Жизнь бессмысленна» — это само по себе бессмысленно. Подумайте о том, что может иметь или не иметь смысл: слова, предложения, дорожные знаки, значки на экране ноутбука, закорючки, которые подсказывают, что делать со стиральной машиной. Другие вещи — кошки, нарциссы, пояса астероидов и сама жизнь — совсем иного рода, и, хотя о них можно сказать многое, они ни осмысленны, ни бессмысленны. Так что весь этот вопрос о смысле жизни основан на ошибке. И мало-мальски приличному философу нужно не больше пяти минут, чтобы с ним разделаться.

Что ж, это один подход — тот бойкий, твидовый, несколько самодовольный настрой, который, особенно в Британии и около середины прошлого века, создал философии дурную славу. Он не так впечатляет и не так убеждает, как ему самому кажется. Люди, задающиеся вопросом о смысле жизни, не совершают простой ошибки, спрашивая, что «жизнь» обозначает (как со знаками и символами) или как её перевести (как с предложениями на иностранном языке). И лишь изредка от них можно отделаться намёком, что уже самим вопросом о смысле они выдают свою полную путаницу.

Но если это не путаница, то чего же именно мы ищем? Те из нас, кого тревожит смысл жизни, ломают голову над смыслом,

сутью, целью, значением всего этого. Если жизнь бессмысленна, значит, она лишена смысла и цели, во всём, что мы делаем, нет никакой настоящей ценности или достоинства, и в конечном счёте нет никакой веской причины вообще вставать с постели. Об этом можно думать по-разному. Для одних мысль о том, что смысла нет, касается лишь их собственной жизни — это личная, частная и часто временная забота, — а другим кажется, что все жизни лишены и даже неизбежно лишены смысла и цели, признают это люди или нет. И если одних мысль о бессмысленности жизни глубоко угнетает, может быть, даже лишает сил, то другие стискивают зубы и продолжают своё повседневное существование. А третьи находят эту мысль странным образом освобождающей: жизнь без смысла — это жизнь, в которой мы свободно парим, ничем не стеснённые, хозяева своей судьбы.

Бессмысленна ли жизнь? Это вопрос, который многих из нас в то или иное время тревожит. И, вероятно, именно этим вопросом больше, чем любым другим, по мнению людей, и должны заниматься философы. Если любители мудрости не могут разобраться с ним, то помоги нам небо.

## Почему думать, что жизнь бессмысленна?

Что питает мысль о том, что в жизни нет смысла? Что заставляет нас чувствовать, что в конечном счёте у жизни нет ни цели, ни сути? Пока будем мыслить масштабно.

Одна мысль касается неизбежной краткости жизни: мы прекрасно знаем, что скоро уйдём, будем забыты, покинем вселенную, почти не оставив следа. И это соображение касается не только отдельных людей. Не только каждый из нас умрёт, но в более долгой перспективе наш вид, как и все другие, вымрет, а в ещё более долгой ничто из того, что кто-либо из нас сделал, — постройка пирамид, сочинение пьес, запуск ракет в глубины космоса — не оставит никаких осязаемых следов. Прах к праху, но в конце концов не станет и праха.

Другая, связанная с этим мысль: даже сейчас мы, наши дела и наш мир совершенно ничтожны по сравнению с необъятностью космоса. Посмотрите на ночное небо, подумайте о бесчисленных галактиках, звёздах, планетах, которые оно содержит, — и всё наше существование бледнеет до ничтожества. Вспомните тот эпизод в «Третьем человеке», где персонаж Орсона Уэллса, свысока взирая с колеса обозрения, сравнивает людей внизу с муравьями. С любой точки, которую мы реально занимаем, это кажется несколько жестоким, но посмотрите воображаемым взглядом из центра вселенной — и наши жизни и усилия покажутся куда меньше муравьиных: не более чем слабейшая суета в одном уголке Млечного Пути.

Третья мысль: наше положение здесь далеко не завидно — жизнь для всех нас есть непрерывная череда борьбы, неудача за неудачей, в которой боль, разочарование, крушение надежд, утраты — если смотреть правде в глаза — совершенно очевидно всё, чего мы можем ожидать. Конечно, мы говорим себе, что жизнь может быть хорошей, что удовольствие, счастье, успех ждут за углом, но мы сами себя обманываем и отказываемся видеть вещи такими, каковы они есть. У Шопенгауэра, первого пессимиста философии, это неизменная тема:

> Мы начинаем в безумии плотского вожделения и упоении сладострастия, а кончаем в распаде всех наших частей и затхлом смраде трупов. И путь от одного к другому, в том, что касается нашего благополучия и радости жизни, тоже неуклонно идёт под гору: счастливо грезящее детство, ликующая юность, исполненные трудов годы зрелости, немощная и часто жалкая старость, мука последней болезни и, наконец, смертная агония, — не похоже ли на то, что существование есть ошибка, последствия которой постепенно становятся всё очевиднее?

Мрачная картина, несомненно, но трудно отрицать, что в ней есть доля истины.

Последняя мысль здесь для многих людей — главная причина признать, что у жизни нет ни цели, ни сути. Это мысль атеиста о том, что, в конце концов, нет никакого Бога, никакого творца,

никого, кто бы о нас заботился или вписывал нас в свой замысел. А без Бога, без великого плана в конечном счёте просто неважно, что мы делаем, живём мы или умираем. Эта мысль — что мы стоим одни, ненужные и незапланированные, — конечно, согласуется с другими. Нет Бога — и нет гарантии нашей будущей значимости. Нет Бога — и у нас лишь периферийное место в порядке вещей. Нет Бога — и нет добра, нет справедливости здесь, на Земле. Всё позволено, и ничто не важно. Это не единственный вопрос, но для многих подозрение, что притязания религии не выдерживают проверки, имеет центральное значение в доводах в пользу бессмысленности жизни.

Так что по тому или иному из нескольких оснований вполне может казаться, что жизнь совершенно лишена смысла. Временные, маргинальные, дрейфующие во вселенной, равнодушной и безучастной, мы так легко могли бы и не существовать. И хотя так многое продолжает так сильно нас занимать, мы, конечно, можем увидеть, если продумаем всё до конца, что в действительности ничто из этого не имеет ни малейшего значения.

## Хороши ли эти доводы?

Но прежде чем со всем покончить, прежде чем отчаяться, нужно спросить, хороши ли эти доводы. Действительно ли они работают так, как полагают пессимисты среди нас, показывая, что жизнь лишена сути и цели? Или здесь что-то нечисто?

Один способ противостоять этим доводам — с самого начала оспорить то, как они представляют жизнь, вселенную и всё остальное. Пожалуй, легче всего это сделать перед лицом унылого взгляда Шопенгауэра на нашу нынешнюю участь. Многие из нас подумают, что жизнь не так плоха, как он её изображает, и что, хотя боль, разочарование и прочее отрицать не приходится, они не составляют всей истории — и даже не главной истории — многих наших жизней. Есть подлинное удовлетворение, подлинные радости. И хотя все мы в конце концов умираем, и часто раньше,

чем хотелось бы, это не отменяет всего, что происходит по пути, и не означает, что сам путь неуклонно идёт под гору. Многие так же возразят и против последнего из приведённых соображений. Ведь даже если трудно что-либо с уверенностью доказать в ту или другую сторону, многие люди, конечно, верят, что Бог существует, и верят, что наше существование в религиозном смысле служит некой цели, имеет некую суть. А если довод против Бога несостоятелен, то несостоятелен и довод против смысла.

С другими доводами, однако, справиться будет труднее. Многое из того, что наука говорит нам об истории и необъятности вселенной, — это более или менее установленный факт. Может быть, вы можете вообразить, что следы нашего существования каким-то образом сохранятся на протяжении всего времени; может быть, вы даже можете вообразить, что нам удастся колонизировать какие-то части космоса, дав людям возможность продолжать существование, даже когда нашей Солнечной системы не станет, но это кажется маловероятным. Ещё менее вероятным кажется, что учёные ошибаются насчёт размеров вселенной и что может оказаться, будто люди всё-таки занимают в ней большое и центральное место. Так что, если такие факты могут лишить нашу жизнь смысла, будет казаться, что наше существование всё-таки бесцельно.

Но могут ли они? Второй подход — усомниться в том, действительно ли эти предполагаемые факты так важны, как иногда допускают. Возьмём сначала соображение о размере. Согласен, вселенная велика, а мы малы; но почему это должно иметь значение? А если вы думаете, что имеет, то просто вообразите, что всё иначе. Ведь если быть малыми — такая беда, то, конечно, нам было бы лучше, будь мы, условно говоря, покрупнее. Так что вообразите, что больших частей вселенной никогда не существовало и что факты во многом такие, какими их долго считали: Земля в центре, Солнце, Луна и планеты вращаются вокруг нас, а за ними — звёздная твердь. И спросите: помогло бы это вернуть нашей жизни смысл? Трудно увидеть, как. Ведь трудно

увидеть, как существование или несуществование звёзд или планет за миллиарды миль может вносить какую-либо разницу в смысл или значимость происходящего здесь.

Так же и со временем. Почему должно иметь значение, что через миллион лет нас всех не станет? Это очень далеко впереди. Опять-таки один способ проверить, важно ли это, — вообразить, что всё иначе и что на самом деле мы будем продолжаться, избегая вымирания и избегая праха. Итак, допустим, есть какая-то гарантия, что люди будут существовать вечно — говорить о погоде, ремонтировать дома, суетиться из-за внешности, попеременно любить и воевать. Даже если вы считаете это хорошей новостью, вы всё же можете спросить, чем это поможет. Итак, жизнь будет продолжаться во веки веков. Как может кто-либо из нас почувствовать, что его собственная жизнь будет иметь больше смысла, больше значения из-за перемен столь масштабных, но и столь далёких и столь отрешённых, как эта? Разве это не просто не имеет отношения к вопросу о смысле сейчас?

Тот же подход можно применить к некоторым страхам, связанным с атеизмом и его предполагаемыми последствиями для смысла. И, примененный так, он открывает нечто важное о разных видах смысла и о том виде, которого мы хотим для своей жизни. Вообразите или допустите, стало быть, что есть Бог, рай и ад, что Он хочет, чтобы добро процветало, а зло страдало, и уготовал праведным среди нас вечное общение с Собой. Опять-таки мы можем спросить, действительно ли это помогает. Итак, нам предстоит жить вечно, исполнять волю Божию, а затем непрестанно Его славить. Это может звучать гораздо лучше некоторых альтернатив, и это, конечно, куда, куда лучше ада, но действительно ли так разрешатся тревоги о бессмысленности, бесцельности нашей жизни? Действительно ли нас удовлетворит открытие, что мы вписываемся в чей-то великий замысел? В этом есть какой-то смысл и цель, но того ли рода, которого мы хотим? Вообразите нечто вроде «Бури» Шекспира: люди застряли на необитаемом острове, толком не знают, почему они там и что должны делать, и бесцельно

слоняются. Потом они обнаруживают, что участвуют в каком-то психологическом эксперименте и всё, что они делают, записывается и вводится в компьютеры людьми в белых халатах. Почему от этого им должно стать лучше? Или вообразите индеек, которые думают, что их жизнь бессмысленна, а в конце концов узнают, что их предназначение — растолстеть к Рождеству и доставить на нём удовольствие. Если индейки не совсем глупы, эта новость их не обрадует.

Это показывает, думаю, что мы ищем не какой угодно смысл и цель, а смысл и цель, которые мы можем найти для себя сами или по крайней мере с которыми можем сами себя отождествить и которым можем себя посвятить. И именно это, стоит нам начать об этом думать, кажется столь неуловимым, постоянно ускользающим сквозь пальцы. Вещам достаточно легко иметь цель или назначение для кого-то другого: посудомоечные машины, часы, газонокосилки имеют назначение и цель для нас, и мы можем, как выше, вообразить, что сами, в свою очередь, служим чьей-то цели. Но мы не хотим быть такими. Мы не хотим просто вписываться в чужой замысел. Но не хотим мы и быть бесцельными, ненужными, вещами, которые вовсе ничего не значат. Мы хотим найти свои собственные цели, сами создавая или открывая смысл жизни.

К чему это нас приводит? Некоторые стандартные доводы в пользу того, что у жизни нет смысла, оказываются менее действенными, чем казалось сначала. Но не стоит слишком утешаться этим. Даже если эти доводы не работают, другие, может быть, работают. А то, что стало яснее в конце предыдущего абзаца, — что нам нужен не чей-то чужой смысл, а свой собственный, — может создать препятствия, которые вовсе не легко преодолеть.

## Жизни и смыслы

Но, может быть, всё это слишком грандиозно. И, может быть, мы ошибаемся, глядя на вещи в таком космическом масштабе. Может быть, и начинаем мы неудачно, задавая не тот вопрос.

Поставьте его так — «В чём смысл жизни?» — и мы примемся искать ту единственную простую вещь, которая в каждом случае придаёт нашей жизни суть. Но поиски этого волшебного ингредиента так наверняка обречены на неудачу, что мы в итоге будем просто шутить над этим, говоря, как в «Автостопом по галактике», что смысл жизни — 42, или пересматривая старые скетчи «Монти Пайтона», где мужчины, переодетые женщинами, высматривают ту вещь, которая и есть смысл.

Лучше, стало быть, подправить вопрос в двух отношениях. Во-первых, вместо того чтобы думать о жизни вообще или в каком-то абстрактном смысле о человеческом уделе, думайте об отдельных человеческих жизнях. И спросите затем, какие из этих жизней, если какие-то вообще, осмысленны, а какие нет. Во-вторых, вместо того чтобы думать о той единственной вещи, которая придаст жизни смысл, и затем мыслить эту вещь по принципу «всё или ничего», думайте лучше о разных вещах, которые в разной мере могут помочь сделать жизнь более или менее осмысленной. Думайте так, думайте мельче, частями и применительно к конкретному — и, может быть, мы к чему-то придём.

## Решать вам

Вот одно предположение. Осмысленна ваша жизнь или нет — решать вам. На этот счёт нет никаких правил. И уж точно никто другой не вправе судить. Всё зависит лишь от того, как вы это ощущаете: если вы чувствуете, что ваша жизнь осмысленна, значит, так и есть; если чувствуете, что нет, — значит, нет. Вопросы о смысле жизни, стало быть, если воспользоваться привычным словом, совершенно субъективны.

Это предположение, но хорошее ли? Подумайте о следующем случае, явно выдуманном, но не так уж далёком от реальных:

*Хор хризантем.* Анжелика — честолюбивый садовод. Очень честолюбивый. Она не только хочет, чтобы её газон был зеленее и

полосатее всех в городе, не только добивается вишен, лимонов и абрикосов в климате, где другие вполне довольны фасолью, — она нацелена на самые впечатляющие цветы на свете. И не только по внешнему виду, аромату или долговечности. Она хочет, чтобы они пели. Её честолюбие имеет предел, так что над всеми сразу она не работает. Пока она сосредоточилась на хризантемах — прямых, одинаковых, с крупными головками, в целом впечатляющих. Она разговаривает с ними, ставит им музыку, стоит перед ними с дирижёрской палочкой. Если уж от кого-то можно добиться пения, то, она уверена, это её лучшая ставка.

Ведёт ли Анжелика осмысленную жизнь? Она, безусловно, занята и, несмотря на неизбежные неудачи, остаётся бодрой. Может быть, она даже счастлива. Но является ли жизнь, проведённая так, жизнью, исполненной смысла? Или это полная трата времени? Может быть, она, как вы можете заподозрить, просто сумасшедшая?

Может быть, никогда не будет вполне ясно, чего мы ищем, когда ищем осмысленной жизни, но мне кажется, что Анжелика тут совсем потеряла нить. Конечно, некоторые вещи зависят от нас, или субъективны, и если мы искренне в них верим, то так и есть. Допустим, у неё болит голова. Врач может сказать, что физиологически всё в порядке, но если она верит, что ей больно, то ей больно. И поэтому я допускаю, что она бодра. Об этом она судит лучше всех. Может быть — хотя это более спорно, — люди лучше всех судят и о том, счастливы они или нет. Может быть, если вы думаете, что счастливы, то так и есть. Но некоторые вещи, безусловно, от нас не зависят. Ведёт ли Анжелика успешную жизнь? Допустим, мы спросим её. И — важный момент — спросим, в чём этот успех состоит. Важный, потому что просто бессмысленно заявлять об успехе без каких-либо оснований. Может быть, она скажет, что её жизнь успешна, потому что она — или вот-вот станет — первым в мире руководителем полностью обученного хора хризантем. Что ж, она им не является. Если она считает свою жизнь успешной по этим причинам, она просто ошибается. Может

быть, она думает, что продвигает научное знание. Маловероятно, что это так. Но важно то, что и это — утверждение о том, как обстоят дела вне головы Анжелики; оно не становится истинным просто потому, что она так думает. Успешна ваша жизнь или нет, зависит от того, как она соотносится с определёнными внешними критериями, — это не зависит просто от того, что вы о ней чувствуете. И я думаю, что так же обстоит дело с тем, осмысленна ли ваша жизнь. И здесь от того, что вы так думаете, это не становится так. А Анжелика, я бы предположил, ведёт глупое, бесцельное существование в погоне за нелепой — и довольно очевидно нелепой — мечтой.

Допустимо ли, однако, просто выносить такие суровые и непреклонные приговоры тому, как люди проживают свою жизнь? Не следует ли жить и давать жить другим, уважая выбор, который делают другие? Некоторых насторожит принятый здесь подход: он покажется им слишком осуждающим. В конце концов, Анжелика никому не причиняет вреда. И она кажется вполне счастливой. Подумайте, однако, о более реалистичных случаях. Ваш знакомый оканчивает университет, обустраивается, получает хорошую работу, но затем пристращается к наркотикам. И всё начинает рушиться. Семья и друзья пытаются вмешаться, вернуть его на путь истинный. Но зачем? Он тоже никому не причиняет вреда. Вообразите, что его родители достаточно богаты, чтобы его содержать, так что на преступный путь он не встаёт. Он не испытывает боли и не страдает сколько-нибудь очевидным образом. Более того, он может казаться счастливее всех нас. Но возражение против такой жизни просто в том, что она кажется растраченной, упущенной возможностью, бесцельным существованием. Может быть, говорить так — действительно значит осуждать. Но, по-видимому, осуждения не всегда нужно избегать.

## Как сделать правильно

Не следует думать, стало быть, что всё позволено. Может быть, нам действительно приходится самим находить или создавать смысл в своей жизни. Но найти его можно не где угодно, и выдумывать его на ходу нельзя. Что бы ни говорили, не всё субъективно. Этот подход не сработает. Но если есть объективные критерии — то, о чём мы можем соглашаться или спорить, на чём в конце концов можем сойтись, — того, что делает жизнь более или менее осмысленной, то каковы же они? Что нам нужно, чтобы наша жизнь имела смысл?

Здесь всё может стать глубоко разочаровывающим. А потому, что предположения, которые я здесь сделаю, ни одно не будет особенно волнующим или особенно глубоким. Это просто привычные, обыденные предположения о том, что делает жизнь осмысленной, значимой или стоящей того, чтобы её прожить. И все они уже высказывались прежде — философами, романистами, священниками, целителями и другими.

Вот, стало быть, кое-что из того, что важно: отношения, следование какому-то плану или замыслу, добрая жизнь. Это того рода вещи, которые часто располагаются ближе к центру осмысленной жизни. Список выглядит коротким, но, думаю, разобрать его пункты окажется полезным.

Итак, во-первых, отношения с другими людьми, с друзьями, семьёй, детьми — это, как я предполагаю, один из важных элементов, помогающих сделать жизнь осмысленной. Допустим, вы так связаны с другими. Вы разделяете их стремления, надеетесь, что у них всё будет хорошо, радуетесь их радостям. И в то же время вы наслаждаетесь их обществом, делитесь с ними своими проблемами и заботами, получаете их помощь, когда она нужна. Признавая это, нелегко вовсе сомневаться в том, что ваша жизнь имеет какое-то значение, или ценность, или суть. И значение или суть здесь, по-видимому, нужного рода: друзья нужны друг другу совсем иначе, чем мы нуждаемся в почтальонах, фермерах или работниках колл-

центров в Шотландии или Бангалоре. Хорошие отношения взаимны, и ни одна сторона не чувствует, что её используют, ценят лишь за что-то одно или просто вписывают в чужой замысел. Сайлес Марнер в романе Джордж Элиот обретает глубокий смысл в жизни, когда находит на своём пороге оставленную девочку и решает вырастить её как собственную дочь. И наоборот, герой — или антигерой — фильма с Джоном Уэйном «Искатели» видит, как его жизнь лишается смысла, когда всю его семью вырезают индейцы. Я, очевидно, имею в виду других людей, но, даже если им никогда не стать больше чем вторым по качеству, надо признать, что отношения с домашними животными — прежде всего с кошками и собаками — тоже могут помочь наполнить нашу жизнь смыслом.

А затем, во-вторых, преданность какому-то плану, замыслу или начинанию. Допустим, у вас есть какая-то большая, движущая вами идея — может быть, написать роман, побывать во всех столицах Европы, отреставрировать викторианский дом или выращивать собственные овощи и научиться их готовить. Вы читаете об этом, распределяете деньги и время, вырабатываете план кампании, втягиваетесь в его осуществление, а затем получаете от этого удовольствие. Опять-таки преданность любому такому замыслу плохо уживается с мыслью, что ваша жизнь бессмысленна, совершенно лишена цели и сути. И опять-таки есть примеры из литературы, которые это иллюстрируют: рассказчик в романе Пруста, как и сам Пруст, обнаруживает, что его бесформенная и часто сбившаяся с пути жизнь собирается воедино, обретая смысл и суть, когда он может отступить на шаг, подробно описать её ход и превратить её в искусство.

В-третьих, нечто более спорное. Не уверен, что это верно, но это широко распространённая мысль, и её, безусловно, нужно упомянуть. Подумайте о том, что значит быть хорошим человеком: сознавать некоторые беды мира и сильно желать изменить положение к лучшему. Это предполагает также, и, вероятно, прежде всего, упорядочение внутреннего: хороший человек — тот, кто

держит жизнь в руках, обладает чувством меры, пониманием того, что важно, умением правильно уравновешивать соперничающие заботы. Обретите это понимание, это равновесие — и затем направьте хотя бы часть своих сил на исправление несправедливостей вокруг. И если это верно и помощь себе и помощь другим должны быть так связаны, то, похоже, нравственно добрая жизнь будет вместе с тем и осмысленной жизнью.

Все эти соображения связаны между собой. Участие в жизни других часто порождает какой-то план или замысел — может быть, помочь детям окончить школу и университет или вместе с друзьями ставить спектакли или концерты в сельском клубе. Нравственная жизнь в привычном смысле весьма вероятно свяжет вас с другими людьми. Многие планы и замыслы опять-таки сделают это — либо потому, что вам нужны другие, чтобы всё продумать и осуществить, либо потому, что есть естественное стремление делиться увлечениями с единомышленниками. А то, что на более глубоком уровне связывает эти разные занятия воедино, — это, по-видимому, во-первых, осознание временно́го измерения нашей жизни, осознание того, что мы не просто живём от мгновения к мгновению, а во-вторых, забота о том, чтобы придать этой жизни членораздельность и связность, и делать это часто через творческое формирование и упорядочение вещей вокруг. Осмысленная жизнь, стало быть, часто самосознательна, обращена в будущее и созидательна.

Здесь мне нужно вернуться к религии. Ранее предполагалось, что смерть Бога не лишит нашу жизнь смысла. И далее, в связи с этим, предполагалось, что существование Бога, даже если оно придаёт нашей жизни смысл определённого рода, не даст по-настоящему того рода смысла, которого мы хотим. Но я вовсе не хочу сказать, что религия просто не имеет отношения, не относится к делу, когда речь идёт о смысле жизни. Во-первых, если религия окажется истинной, может быть, мы в конце концов обнаружим, что у жизни есть общая форма или узор — не навязанный нам извне, а такой, который мы можем понять, признать и принять как свой.

Пути Божии, может быть, в конце концов окажутся теми путями, которые мы выбрали бы и сами. Во-вторых, и это здесь важнее, даже если предположить, что Бога нет, те, кто в Него верит и живёт религиозной жизнью, вполне могут благодаря этим верованиям жить осмысленной жизнью. Ведь религия, безусловно, побуждает нас сосредоточиться на более широкой картине, на долгосрочной перспективе, отвращаясь от узких, эгоцентричных и часто мелочных забот к более широкому сообществу с более насущными нуждами. Религиозная вера, стало быть, даже если в конечном счёте в ней ничего нет, будет поощрять участие в тех вещах — заботе о других, о будущем, об улучшении, — которые, как я предположил, помогают придать нашей жизни значение и смысл.

Всё это, и намеренно, несколько расплывчато и неопределённо. Я утверждаю лишь, что рассмотренные здесь вещи могут помочь придать смысл вашей жизни. Я не говорю, что вам нужны они все: отшельник, например, вполне может вести осмысленную жизнь, как и человек, не особенно склонный к добру. И даже если религия может помочь, она, думаю, далеко не необходима. Ведь даже если вы согласны, что нам нужно признать духовное измерение жизни, наверняка ошибочно думать, что позволить нам это может только религия. Не говорю я и того, что, если у вас в жизни всё это есть, смысл каким-то образом гарантирован. Он всё ещё может оказаться под угрозой многими разными способами.

## Как сделать неправильно

Что же, стало быть, стоит на пути смысла? Если вещи, упомянутые выше, могут способствовать осмысленной жизни, что, напротив, будет её умалять? Здесь я опять-таки могу начать с некоторых простых и привычных соображений, а затем предложить определённые уточнения.

Во-первых, другие черты нашей жизни, если они присутствуют в сколько-нибудь значительной мере, могут работать против того,

чтобы жизнь имела смысл. Боль, болезнь, физическая или душевная, крайняя бедность — всё это может лишить жизнь значения и сути. Опять-таки это почти трюизмы: трудно участвовать в жизни других, регулярно упражняться на флейте или исправлять мир, если все часы дня думаешь о боли и о том, как от неё избавиться, или о том, где бы раздобыть что-нибудь поесть или попить. Не все находятся в том состоянии, которое описывает Шопенгауэр, но для тех, кто находится, это плохое положение. Опять-таки я не предполагаю, что в этих делах можно действовать по своду правил. Люди могут жить осмысленной жизнью несмотря на боль. Более того, боль и страдание при некоторых обстоятельствах могут помочь придать жизни смысл. С тех пор как в американского порнографа Ларри Флинта стреляли, после чего он остался парализованным и прикованным к инвалидному креслу, он, по его собственным словам, обнаружил, что его жизнь изменилась к лучшему. Мысль лишь в том, что очень часто дурное в жизни действительно угрожает её смыслу, значению и цели.

Во-вторых, полное отсутствие тех вещей, что упомянуты выше, подорвёт притязание на смысл. Человек, отрезанный от других людей, по какой бы то ни было причине неспособный полностью отдаться какому-либо долгосрочному замыслу, лишённый возможности хоть как-то положительно изменить мир, вряд ли найдёт смысл в жизни. Вообразите Робинзона Крузо — без Пятницы, без надежды на спасение и на острове, где еды столько, что ему даже не нужно ничего придумывать, чтобы остаться в живых. Ничего не происходит. И ему кажется, что ничто из того, что он делает, не имеет никакого значения. Или подумайте о той жизни, что предлагается в «Дивном новом мире» Олдоса Хаксли с его видением стерильного и изнеженного будущего, в котором мало что из того, что мы можем делать, имеет более глубокую цель или ценность. На более будничном уровне: потеряйте работу и друзей — и ваша жизнь вполне может показаться лишённой смысла и цели.

В-третьих, важно не предаваться даже положительным вещам чрезмерно. Это ещё один способ сделать неправильно. Подумайте о

женщине, которая вечно занята семьёй или друзьями, словно живёт через них, никогда не бывает в ладу с собой. Подумайте опять-таки о святом, вечно ищущем нравственную сторону дела, никогда не желающем дать себе волю. Такой человек, может быть, действительно живёт в одном смысле доброй жизнью и вполне может делать много добра другим. Но мы можем усомниться, хороша ли эта жизнь в ином смысле и можно ли сказать, что человек, столь полно отрекающийся от себя, живёт осмысленным существованием. Или подумайте о ком-то, целиком поглощённом каким-нибудь замыслом. Писатели, художники, музыканты часто одержимы, маниакальны, мономаны, неспособные хоть когда-нибудь унять творческий поток. Даже если их произведения делают нашу жизнь богаче и глубже, нам следует, думаю, остерегаться предполагать, что они сами вознаграждены так же. Так что не думайте, будто осмысленная жизнь — преимущество немногих: Бетховена, Ганди, Наполеона, Эйнштейна. Думайте скорее, что такая жизнь доступна гораздо шире и что у нас с вами, может быть, больше шансов на неё, чем у гигантов и героев.

## Некоторые осложнения

Всё это может показаться подозрительно простым. Но теперь к некоторым из этих соображений нужно вернуться, исследовав осложнения и развеяв опасения.

Вернёмся сначала к соображению о нравственности. Я хочу сказать, что, хотя добрая жизнь вполне может помочь со смыслом, она не вполне необходима. Мы не знаем, были ли Шекспир, Екатерина Великая или Томас Эдисон особенно хорошими людьми, но, по-видимому, они вели осмысленную жизнь. А как же дурной человек? У Гитлера, Сталина, Пол Пота были планы и замыслы, которые они в значительной мере осуществили, как, в меньшем, но всё же значительном масштабе, и у Джека Потрошителя и Аль Капоне. Сказать ли нам, что их жизнь была осмысленной? Некоторые философы думали, что смысл и нравственность

совершенно явно различны: важна вовлечённость в какой-то замысел, а не его этическое измерение. Но есть место для сомнения. Как мы можем думать, что безумие — помеха смыслу, так и в отношении зла. Если мы считаем этих людей не просто введёнными в заблуждение, а положительно злыми, то, по-видимому, можно усомниться, как они могут действительно верить, что их жизнь стоит того. Если, как настаивают многие, зло разъедает душу, то шансы насквозь дурного человека вести осмысленную жизнь, по-видимому, невелики.

И действительно ли я был прав насчёт Анжелики? У неё есть план, замысел, нечто, чему она предана и что придаёт её жизни форму и строй. Почему это не осмысленно? Хороший вопрос. Но думаю, что большинство из нас разделяют мысль, что годится не какой угодно замысел: он должен быть и осуществимым, и стоящим. Или, если не так, то по меньшей мере казаться разумным людям осуществимым и стоящим. Флогистон никто никогда не открыл бы, но с точки зрения того, что было известно в то время, пытаться не было безумием. Но некоторые замыслы безумны, и лишь сумасшедший может думать, что у них есть шанс на успех. До Луны не допрыгнуть. Другие, хотя и осуществимы, бессмысленны. Можно пересчитать листья в аллее деревьев или записывать всякий раз, когда облака появляются или исчезают, но без какой-то дальнейшей цели это очень глупые занятия.

Связанное с этим опасение: действительно ли необходима вовлечённость? Анжелика занята замыслом, который, как я сказал, глуп, тщетен, бесцелен. А как насчёт противоположного случая?

*С девяти до пяти.* Жан-Поль бóльшую часть взрослой жизни проработал в Международном Красном Кресте. Он администратор, ключевая фигура в организации помощи при голоде, землетрясениях, войнах, где бы они ни случались. Он родился в Алжире и с детства сознавал — его родители были коммунистами, — что у колониализма, империализма есть свои тёмные стороны. Казалось неизбежным, что он в чём-то пойдёт по их стопам, заботясь о социальной справедливости и помогая самым

нуждающимся. Но с годами его страсть поистёрлась. Хотя он хорош, даже очень хорош в своём деле, теперь Жан-Поль считает его просто работой, чем-то для офиса, где эффективность значит больше, чем воодушевление.

Некоторые сочтут это осмысленной жизнью, даже если сам Жан-Поль уже не особенно предан тому, что делает. Я не так уверен. Это была ценная жизнь в очевидных отношениях: проекты, над которыми он работает, несомненно стоящие, и тысячи людей обязаны его усилиям всем, — но Жан-Поль остаётся странно отрешённым от своей работы и не думает, что она обогащает или возвышает его собственное существование. Он, может быть, похож на Оскара Шиндлера, чья помощь евреям в бегстве от нацистов, по-видимому, не была вплетена в подробную ткань его жизни.

Это помогает прояснить ещё одно соображение. Ранее настаивалось, что ваша жизнь не становится осмысленной просто потому, что вы в это верите. Но сейчас предполагается, что отношение имеет значение и что недостаток вовлечённости может угрожать смыслу или подрывать его. Здесь вовсе нет противоречия. Можно сказать, что отношение — не альфа и омега, хотя и помогает. (Подумайте о других случаях. Вы не становитесь привлекательным для других, или душой компании на вечеринках, или звездой дискуссионного клуба просто оттого, что так думаете. Но позитивный настрой, безусловно, увеличит ваши шансы.) Так что более удачная позиция подчёркивает обе стороны дела, уделяя внимание и тому, какую жизнь мы ведём, и нашему отношению к этой жизни. Как выразился один недавний философ: «Смысл возникает, когда субъективное влечение встречается с объективной привлекательностью». И это, по-видимому, верно.

Последнее опасение связано с более глубоким и трудным вопросом. Я сказал, с определёнными оговорками, что одни жизни будут казаться нам осмысленными, а другие поразят нас как гораздо менее осмысленные. Но достаточно ли этого? Даже если мы согласны насчёт того, что считается, что важно, не может ли всё же

быть, что мы ошибаемся? Не можем ли мы все систематически ошибаться в том, какие жизни более, а какие менее осмысленны?

Не думаю. Конечно, ошибок мы можем совершить много. Мы можем, например, совершенно превратно понимать морское дно или долгосрочные последствия генной инженерии. Но если наука полна препятствий для понимания, то смысл жизни, как я о нём говорил в предыдущих разделах, — дело на удивление близкое нашему сердцу, с рядом осложнений, но с немногими скрытыми глубинами. Совсем не легко увидеть, как, если мы тщательно и сообща об этом подумаем, мы могли бы совершенно упустить суть.

## Смысл и абсурд

И всё же чувство беспокойства останется. То, что начиналось как глубокая тревога о конечной бессвязности и бесцельности нашей жизни, свернуло в сторону — к череде почти банальных наблюдений о том, что именно могло бы сделать одну жизнь чуть лучше другой в состязании за смысл. Но почему бы не признать, что, хотя между жизнями и есть эти реальные различия, все они тем не менее лишены подлинного смысла? Правда, изо дня в день мы обычно полностью поглощены проживанием своей жизни: кажется невероятно важным успеть вовремя на какое-то совещание, или сыграть следующую партию в сквош лучше предыдущей, или найти подходящую плитку для отделки кухни. Но потом, оглядываясь назад, мы видим, что всё это почти ничего не значит, — настолько, что бывает неловко вспоминать, как сильно мы были этим поглощены в то время. И даже если изнутри нашей жизни суть и цель того, что мы делаем, может казаться очевидной — ведь головная боль, в конце концов, даёт вам веское основание принять аспирин, — мы не можем не подозревать, отступив на шаг, что в конечном счёте ничто из этого не имеет значения. В конечном счёте, по-видимому, ни в чём из того, что мы делаем, нет ни смысла, ни значения.

Здесь, однако, важно быть философом. Но я имею в виду не расхожий смысл — что нам следует принимать свою участь, смиренно и стоически ко всему относиться. Скорее, важно очень бережно обращаться с некоторыми совершенно обычными словами.

Действительно ли важно, чтобы вы успели на совещание вовремя? Мир не кончится, если вы опоздаете. А если бы и кончился, вселенная всё равно продолжала бы существовать. Но нечто может иметь значение, и большое значение, даже когда последствия куда менее грандиозны. Очень важно, чтобы люди не гибли тысячами в войнах на уничтожение, даже если в любом случае мир и вселенная продолжат существовать. Действительно ли важно то, что очень важно? Можно над этим мучиться, но я бы предположил, что «действительно» здесь не выполняет никакой подлинной работы. Иметь значение и действительно иметь значение — не две разные вещи. То же и со словом «просто». Оно точно так же может обманом внушить нам, будто вносит подлинную разницу в предложения, где встречается. Мы можем сказать, что мы просто крошечные, причудливые создания, удерживаемые в мгновении времени. Но «просто» здесь лишь изображает силу и вес. Впрочем, в других местах «просто» работает иначе. Некоторые смотрели на жизнь насекомых — светлячков, подёнок, сверчков — и предполагали, что наша жизнь просто такая же, как у них: бесконечный круговорот рождения, спаривания и смерти. Если бы мы были просто как насекомые, то наша жизнь была бы так же лишена смысла, как их. Но совершенно неоправданно предполагать, что различия здесь — самосознание, эмоциональная жизнь, это непрестанное вопрошание — ничего не значат. Наша жизнь, стало быть, на самом деле не просто такая же, как у них.

А как насчёт того, чтобы иметь значение в конечном счёте? Это выражение менее двусмысленно, чем «действительно». И, может быть, нам следует просто согласиться, что в конечном счёте наше существование вовсе не имеет значения. Но это не просто одно из

тех обстоятельств, отсутствие, которое можно было бы восполнить упорным трудом или изобретательностью. Не является это и глубокой, неизбежной трагедией, чем-то, что вполне разумно могло бы время от времени заставлять нас останавливаться и содрогаться. Ведь, во-первых, нет ничего, что мы могли бы хотя бы вообразить, что вложило бы в нашу жизнь конечный смысл, — такого просто абсолютно не может быть. А во-вторых, если некоторые невозможные вещи всё же кажутся отчасти осмысленными и всё же кажутся тем, чего можно было бы хотеть, — путешествия во времени, пожалуй, таковы, — то другие, если хорошенько о них подумать, оказываются совершенно бессвязными. И понятие конечного смысла, по-видимому, именно таково. Мы чувствуем, что вплотную столкнулись с полной случайностью нашего существования. И жизнь кажется бесцельной. Но не может быть достаточно вписаться в более грандиозный замысел — быть в центре вселенной, быть детьми Божиими. Может быть, было бы хорошо, если бы что-то подобное было правдой. Но мы всё равно могли бы спросить, что стоит за всем этим. В чём суть Божественного плана, внутри которого у нас есть суть? Даже Бог недостаточно «конечен» на смысловом фронте, чтобы успокоить эти тревоги. А раз так, нам следует, думаю, заключить, что такие тревоги просто нереальны.

Может быть, это всё ещё не удовлетворяет. И американский философ Томас Нагель предпринял ещё одну попытку, доказывая, что, поскольку такие тревоги будут снова и снова к нам возвращаться, нам следует заключить, что жизнь абсурдна. Это не совсем то же самое, что сказать, что она бессмысленна. Вспомните тревоги, с которых мы начали: ничто не длится вечно, Бог умер, мы малы, и потому из-за всего этого смысла нет. Нагель согласен, что эти доводы на самом деле не работают. У нас всё ещё есть все наши кратко- и среднесрочные смыслы, цель и суть в местном масштабе. А чего ещё, по правде, мы можем просить? Но Нагель думает, что и это не конец истории и что мы — и по сути не можем этого не делать — колеблемся между двумя перспективами, двумя точками зрения

на мир. Так что если мы часто видим жизнь отсюда, изнутри, и тогда вовлечены в неё и преданы ей, то нередко отступаем на шаг и смотрим на свою жизнь как бы издалека, словно глядя на себя сверху из какой-то внешней и далёкой точки. Когда мы вовлечены, жизнь кажется нам осмысленной; когда отступаем, смысл просто исчезает. И поскольку это переключение туда и обратно между двумя перспективами, без возможности окончательно остановиться на одной из них, есть часть человеческого удела; поскольку жизнь в один и тот же день, в пределах одного и того же часа может казаться нам и смертельно серьёзной, и убийственной шуткой, то, по Нагелю, правильно считать её абсурдной. И как на это отвечать? Не поднимать шума. Не думать, вместе с Альбером Камю, что самоубийство — единственный достойный ответ, а принимать это спокойно.

Абсурдна ли жизнь? Довод Нагеля остроумен и был чрезвычайно влиятелен, но я не думаю, что он успешен. А всё потому, что меня не убеждает это непримиримое столкновение перспектив. Конечно, мы можем ошибаться. Мы можем думать в один день, что нет ничего важнее, чем найти рубашку под эти ботинки, а на следующий — что ничто из того, что мы делаем, не имеет ни малейшего значения. Но обе эти мысли ошибочны. Найти нужную рубашку, даже если это важно, никогда не бывает делом первостепенной важности. А многое имеет значение, даже если вносит лишь ничтожную разницу в историю вселенной. Эти мысли обе истинны, а значит, согласуются друг с другом и, следовательно, подрывают всякое упорное столкновение перспектив. И так довод в пользу абсурда исчезает.

## Важен ли смысл?

Может показаться очевидным, что эта забота о смысле жизни вполне уместна, что к ней следует отнестись серьёзно и поразмыслить над ней какое-то время. Безусловно, многие из нас примут это как само собой разумеющееся. И, может быть, так лучше

и быть, если она заслуживает места среди моих хороших вопросов. Но есть связанный с этим вопрос, который сам стоит задать: должны ли мы так беспокоиться, как беспокоимся, о том, чтобы сделать свою жизнь осмысленной.

Прежде всего стоит заметить, что эти вопросы о смысле в известной мере — дело лишь местное. Не все люди во все времена тревожились об этом так, как мы сегодня. Об этом не распространяются, например, у Джейн Остин или в театре XVIII века, и это не выступает господствующей темой ни для одной из сторон в Английской гражданской войне. Шекспир, по-видимому, об этом тревожился — у него, например, Макбет думает о жизни как о «повести, рассказанной дураком, полной шума и ярости и ничего не значащей», — как и его почти современник Рабле во Франции, чьими последними словами были, по преданию: «Опустите занавес, фарс окончен». Еврипид, едва ли не последний из великих драматургов Древней Греции, тоже обращался к этой теме, и многие его персонажи бунтуют против произвола и тщетности своего существования. И, как показывают различные сочинения Шопенгауэра и Толстого, Чехова и Ницше, это, безусловно, становится неким вопросом в середине и конце XIX века. Если всё это учесть, то, по-видимому, напрашивается вывод, что забота о смысле часто всплывает во времена религиозных сомнений и затрагивает особенно тех, кто обнаруживает, что их представления о смысле, основанные на Боге или богах, оказываются под угрозой.

А что же сейчас? Опять-таки стоит попытаться увидеть вещи в контексте. И похоже, что бóльшую часть нашей нынешней заботы о смысле можно проследить, во-первых, до французских экзистенциалистов — прежде всего до Камю, но также до Сартра и Беккета, — а во-вторых, до распространения экзистенциализма в Америке в 1960-х и 1970-х годах. Так что копните поглубже — и вопрос, который поначалу может казаться одним из вечных вопросов философии, может, напротив, оказаться тесно связанным

с битниками, отщепенцами и пугающе самовлюблённым созерцанием собственного пупка так называемого «поколения „я“».

Впрочем, из этого мало что следует. Даже если мы обнаружим, что попытки дать ответы носят прерывистый характер — в одни эпохи люди, может быть, были слишком благодушны, чтобы спрашивать, а в другие на пути стояла необходимость решать основные задачи: добывать пищу и кров, избегать болезней и войн, — может быть, сам вопрос всё равно должен оставаться постоянной заботой. Может быть, в каком-то смысле осмысленная жизнь — неотъемлемое право каждого из нас.

И всё же есть место для сомнения. Действительно ли так важно жить осмысленной жизнью? Рассмотрим такой пример:

*Крестьянский надел.* Массимо унаследовал землю от отца в промежутке между войнами. Он, в свою очередь, оставит её старшему сыну, Джулио. Почва не так уж хороша, но есть оливковая роща, порядочный огород — за ним в основном смотрит жена, она из соседней деревни, ближе к побережью Апулии, из семьи, известной трудолюбием и тем, что рожает мальчиков, — и высокогорное пастбище для овец. Мало что меняется — какие-то поползновения к земельной реформе, тот промежуток с фашистами, что-то насчёт общего рынка, — и, насколько возможно, Массимо не высовывается. Ему нужно, чтобы созрели оливки, чтобы на столе была еда, вечера на площади с другими мужчинами, стакан вина, партия в шахматы.

Это жизнь. Но это не особенно осмысленная жизнь, по крайней мере по предложенным критериям. Массимо живёт более или менее изо дня в день или по крайней мере от сезона к сезону. У него нет особых планов или замыслов, которые бы его воодушевляли, он не особенно хороший человек, и, хотя семья и мужчины, с которыми он выпивает, ему небезразличны, они, по правде говоря, не так уж много для него значат. Но это и не бессмысленная жизнь. Ни неудачи, ни разочарования не омрачают его дней, и ни недуги, ни болезни не нависают над ним или над теми, о ком он заботится. И сам Массимо не думает о своей жизни ни как об осмысленной, ни

как о бессмысленной. Это жизнь, достаточно хорошая и, конечно, лучше многих. Так почему бы на этом не остановиться?

Что жизнь может быть ни осмысленной, ни бессмысленной, уже подразумевалось в предположении, что смысл — дело степени. Неудивительно, что многие окажутся на ничейной земле между тем и другим. Но так ли это плохо? Лучше ли жизни тем, чем они полнее смысла? Можно предполагать, что да, но стоит подумать, действительно ли это так. Нагель в своих рассуждениях об абсурде замечает, что жизнь мыши ни осмысленна, ни бессмысленна: мыши и животные вообще не способны отступить на шаг, поразмыслить о жизни и задуматься о её цели или сути. Но следует помнить, что и мы животные, и даже если мы часто склонны к размышлению, может быть, полезной частью этой размышляющей практики было бы время от времени задумываться, действительно ли столько размышлений — такое уж благо.

Я поместил Массимо в деревню, с его животными, деревьями и огородом, отчасти потому, что такого рода повседневный уклад, следующий ритмам времён года, близкий к природе и земле, так часто казался совершенно подобающим, уравновешенным и здравым родом существования, пусть и не отличающимся особой глубиной или смыслом. Такая жизнь привлекала Толстого в последние годы, когда ему так хотелось слиться с крестьянами своего имения. Она привлекает и многих персонажей пьес Чехова, доведённых до отчаяния скукой и пустотой своего мещанского существования. Витгенштейн работал в монастырском саду, когда вскоре после Первой мировой войны искал передышки от изнурительной философии. И после своих стремительных, охвативших весь свет и совершенно изматывающих приключений именно в таком тихом пристанище находят приют персонажи Вольтера в конце «Кандида»:

> — Я знаю также, — сказал Кандид, — что надо возделывать наш сад.
>
> — Вы совершенно правы, — сказал Панглос. — Когда человек был помещён в Эдемский сад, он был поселён там, чтобы возделывать его и

хранить его, то есть чтобы трудиться; это доказывает, что человек рождён не для покоя.

— Будем работать без рассуждений, — сказал Мартен, — это единственный способ сделать жизнь сносной.

Всё маленькое общество прониклось этим похвальным намерением; каждый начал проявлять свои способности. Маленький участок земли приносил много плодов. Кунигунда была, правда, очень некрасива, но стала превосходной кондитершей; Пакетта вышивала; старуха заботилась о белье. Не отказывался работать даже брат Жирофле; он стал отличным столяром и даже честным человеком. Иногда Панглос говорил Кандиду:

— Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров. Если бы вас не выгнали пинками под зад из прекрасного замка за любовь к Кунигунде, если бы вы не попали в руки инквизиции, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не проткнули барона шпагой, если бы не потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдорадо, — не есть бы вам сейчас лимонных цукатов и фисташек.

— Это вы хорошо сказали, — отвечал Кандид, — но надо возделывать наш сад.

## Неужели всё бессмысленно?

Поскольку есть разные вопросы о смысле, неудивительно, что будут и разные ответы. Подумайте о вопросе местного масштаба, подумайте о разных жизнях — и окажется, что одни будут осмысленны, а другие бессмысленны. Как я сказал, речь идёт о различиях в степени, так что, может быть, лишь немногие окажутся на том или другом краю шкалы, а большинство — где-то посередине. И осмысленны ли жизни в этом отношении, будет зависеть и от того, каковы они, и от того, что мы о них думаем. Правильное отношение к правильной жизни — и дела, что касается смысла, начнут выглядеть хорошо.

Но есть ещё и глобальный вопрос — имеет ли какая-либо из наших жизней, или существование нашего вида, или сама вселенная какой-то конечный или подлинный смысл или суть. Я хотел сказать,

что ответ здесь — нет. Но я хотел сказать также, что это не то, из-за чего нам следует слишком впадать в уныние. Ведь мы не можем даже вообразить, что могло бы обеспечить смысл в таком глобальном масштабе. Так что его отсутствие — не нехватка чего-то реального.

Значит ли это, что нам не следует беспокоиться о смысле? Некоторые, как я предположил, не беспокоятся и вполне довольны тем, что просто живут своей жизнью. Это нормально. Другие беспокоятся. Они смотрят в ночное небо, или размышляют о бедствиях войны, или изумляются многообразию человеческих начинаний и задаются вопросом, в чём смысл всего этого. Даже если мы решим, что можем видеть, что на самом деле всё это ни к чему не сводится, — это тоже нормально.

*Глава 9*

# Должно ли быть больше людей, и лучших?

> *Конечного экономического улучшения следует добиваться, выводя лучших людей, а не уменьшая число нынешних.*
>
> (Бюро евгенических записей, 1910)

Один хороший вопрос касается числа рождающихся людей. Столько ли их, сколько должно быть? Многие думают, что правильного ответа на этот вопрос нет. Но другие думают, что их явно слишком мало. Ведь они считают, что при прочих равных чем больше людей, тем лучше. Другой хороший вопрос — о том, какие люди рождаются. Так ли хороши они сами или их жизни, как должны бы быть? Лишь немногие думают, что здесь нет правильного ответа. Большинство считает, что чем лучше жизни, тем лучше.

Эти два вопроса — первый о числе жизней, второй об их качестве — могут выглядеть совершенно различными. Но я думаю, что они связаны. И думаю также, что в обоих случаях нам следует дать отрицательные ответы. Не лучше, если проживается больше жизней. И не лучше, если проживаются лучшие жизни. Когда речь идёт о качестве жизней, есть определённые осложнения, о которых я скажу ниже. С числом разобраться несколько легче. С него и начнём.

## Больше людей

Население мира достигло шести миллиардов где-то в 1999 году. Некоторые из нас думают, что этого более чем достаточно, и

указывают на перенаселённость Мексики и Бангладеш, на ущерб, который мы наносим окружающей среде, на давление на ресурсы — нефть, воду, тропические леса, — необходимые для нашей жизни. Хорошо было бы, следовательно, если бы нас стало существенно меньше. Другие говорят, что нас могло бы быть на миллиарды больше и что мы могли бы использовать пустые пространства в Канаде, Монголии, Шотландии, чтобы строить новые города и ещё больше увеличить население мира. Мы могли бы спорить о практической стороне дела и о том, действительно ли есть перенаселённость в мировом масштабе. Нам пришлось бы учесть множество сложных фактов и данных, и даже тогда было бы трудно что-либо решить. Но я хочу вместо этого сосредоточиться на вопросе, который может показаться и более лёгким, и предварительным: если предположить, что место и ресурсы есть и что другие практические проблемы можно отложить, то сколько же людей должно быть?

Сделаем ещё одно допущение. Просто признаем, что в существовании людей есть что-то хорошее и что было бы плохо, если бы наш вид совсем вымер. Всё же мы могли бы продолжаться всего лишь парой людей — вариант Адама и Евы — или большим числом, как сегодня, или миллиардами, триллионами, мириадами больше. Что было бы лучше всего? В частности — оставив в стороне возможные выгоды и невыгоды для уже живущих людей, — было бы лучше, если бы живых людей было ещё больше, чем на самом деле? Их могло бы быть больше. Мы могли бы вместе рожать больше детей. Мы могли бы попытаться основать колонии на Луне или на Марсе и заселить их людьми. И допустим, Бог есть. Он мог бы, создав один мир и увидев, что это хорошо, продолжать создавать ещё миллионы по всей вселенной, наполняя их все растениями, животными и людьми. Итак, допустим, нам дана божественная власть:

*Решения.* Это будущее. И всё же жизнь на Земле хороша. Хороша она и на Марсе, особенно с тех пор, как там наладили атмосферу и подняли температуру до калифорнийских стандартов.

Но ушло много времени на то, чтобы обустроить Марс, сделать его пригодным для жизни людей, и много времени на то, чтобы перевозить людей за 50 миллионов миль с планеты на планету. Теперь это проще благодаря репродуктивным технологиям. Благодаря упорному труду учёных всё, что нужно, — чтобы кто-то нажал кнопку. И это поручено Максу. Ему всё объяснили. Нажмёшь правую кнопку — ничего не произойдёт. Нажмёшь левую — и в далёкой галактике, у далёкой звезды, образуется новая планета, планета Зог, на которой миллиарды людей будут жить хорошей жизнью. Ему говорят, что он должен нажать одну кнопку. Но какую? Одна важная подробность: что бы он ни сделал, это не будет ни хорошо, ни плохо для ныне живущих людей. Решать предоставлено Максу.

Это постановка вопроса в большом масштабе. И это, очевидно, научная фантастика и вполне может навсегда ею остаться. Но, как я предположил, тот же вопрос, хотя и в гораздо меньшем масштабе, касается многих из нас сегодня, причём касается практически. Люди нередко задумываются, хотят ли они создать семью и завести детей. Но часто они задумываются и о том, должны ли они это сделать. Жизнь у них двоих хороша, и нет сильного желания разделить её с кем-то ещё. Но затем возникает мысль, часто подкрепляемая другими, что они могли бы завести ребёнка или детей и дать этим новым людям возможность вкусить блага жизни. Иногда говорят, что, если вы станете родителями, ваша жизнь станет гораздо лучше нынешней. Вы выиграете. Но иногда упор делается только на ребёнка. Допустим, так. Люди говорят: заведите ребёнка, дайте ему хорошую жизнь. Может быть, вы ничего не выиграете, но и не пострадаете. Так подумайте о других, о ребёнке, а не только о себе.

Но должно ли это нас убедить? С усыновлением дело обстоит иначе. Есть дети, уже существующие, чья жизнь могла бы быть намного лучше. Может быть, некоторым из нас следует усыновить кого-то из них. Но нет младенцев, душ в лимбе, которые ждут тел и рождения. Так что если правда, что нам следует иметь детей — при

условии, что мы вполне можем себе это позволить, — то не потому, что этим детям будет лучше, если мы это сделаем. Если нам следует иметь этих детей, то должно быть каким-то образом лучше само по себе, что людей больше.

Так что в большом масштабе — целая планета — и в малом — один ребёнок — вопрос по сути тот же: должно ли существовать больше людей, даже когда это не будет лучше для уже живущих? Некоторые думают, что важно лишь качество существующих жизней и что, если они не выиграют, нет вообще никаких причин желать новых жизней. Другие думают, что, пока есть ресурсы, — будь то в семье, в народе, в мировом населении или в числе людей во вселенной в целом, — чем больше людей, тем лучше. И всё же, хотя этот взгляд довольно широко распространён и в философии, и вне её, на удивление трудно найти хорошие доводы в его поддержку.

Я упомяну здесь лишь два, и ни один из них на самом деле не работает. В случае первого легко, думаю, увидеть, где что не так и почему довод несостоятелен. Второй — гораздо лучший довод и может показаться дающим веские основания думать, что больше — лучше. Но на деле мало кого он по-настоящему убеждает: большинство думает, что где-то есть подвох. Вот первый довод:

*Спасать и начинать.* Рассмотрим только стоящие, или осмысленные, или счастливые жизни. Человек, живущий такой жизнью, тонет в бассейне. Хорошо было бы спасти жизнь этого человека, и если бы вы могли легко это сделать, вам следовало бы это сделать. Значит, точно так же было бы хорошо начать такую жизнь, и если бы вы могли легко это сделать, вам следовало бы это сделать. Если вы и ваш друг можете без особого труда завести ребёнка, заводите. А если вы можете без особого труда создать новую планету, создавайте.

Заметьте, что здесь мы думаем только о хороших жизнях, жизнях, которые стоит прожить. И предполагается, что если бы вы могли начать такие жизни с малыми затратами или вовсе без затрат для себя или других, то вам следовало бы это сделать. Это, однако,

не просто утверждение, что начать эти жизни было бы допустимо. С этим мы все можем согласиться. Это более сильное утверждение — что вы должны это сделать. Но довод в его пользу слаб. Спасти чью-то жизнь — значит вернуть человеку возможность продолжать, а может быть, и завершить различные планы и замыслы, которыми он был занят. Вы не хотите умирать, потому что лишь на полпути в своей книге, или в своём саду, или на курсах парапланеризма. Но если смерть может причинить людям вред, расстроить их планы или оборвать их, то никому не причиняется вред, ничьи планы не расстраиваются и ничто не обрывается тем, что он вообще не родился. И потому вполне возможно согласиться, что мы должны спасать существующие жизни, не соглашаясь, что мы поэтому должны начинать и новые.

Вот и всё о первом доводе. А что со вторым? Понять, как он строится, довольно легко, но труднее, думаю, понять, что о нём думать:

*Горестная и радостная*. Сопоставим хорошие и плохие жизни. Подумайте о жизни, которая с первого дня до последнего полна боли и мучений. И вообразите, что нет никаких возмещений, никакой возможности, несмотря на боль, ценить музыку, или заниматься теоретической физикой, или радоваться хорошим шуткам. Эта жизнь горестна насквозь. Прожить её было бы явно плохо, а сознательно начать такую жизнь — неправильно. Но если неправильно начать горестную жизнь, то, конечно, правильно начать радостную жизнь — ту, о которой мы знаем, что с первого дня до последнего она будет полна удовольствия и счастья.

Забудьте все возражения о том, чему мы могли бы научиться у горестной жизни, или о том, что решать вопросы жизни и смерти не нам. Мы думаем о ценности жизни самой по себе, а не о её побочных последствиях для других людей. И думаем мы здесь не о прекращении жизни, а скорее о решении её не начинать. Трудно увидеть, что здесь может вызывать возражения. И в конце концов почти все согласны, что было бы неправильно начинать эту горестную жизнь и что паре не следует планировать ребёнка, если

они знают, что он проживёт всего две-три недели, всё время в сильнейшей боли, а затем умрёт. Но если это так явно неправильно, то почему не столь же явно правильно начать жизнь, когда знаешь, что её вполне стоит прожить? Или проще: если бы больше горестных жизней было плохо, то, конечно, больше радостных жизней было бы хорошо? Но даже если кажется, что нам следует принять очевидную симметрию, этот довод на практике неубедителен, и многие философы откликаются на него попыткой выяснить, где он даёт сбой. Просто кажется, иначе говоря, что запрет начинать плохие жизни гораздо сильнее и яснее, чем любая зеркальная потребность начинать хорошие.

Оставим это пока. Некоторые из нас — и, когда я говорю с людьми об этом, мнения, по-видимому, делятся примерно поровну — думают, что больше жизней было бы лучше. Но найти хорошие основания или доводы для этого нелегко. Я сказал вначале, однако, что, по-моему, есть связь между утверждениями о числе и утверждениями о качестве. Поэтому мы можем на время сосредоточиться на некоторых вопросах о качестве жизней, а к числу вернуться позже.

## Хорошее начало

Жизнь может складываться лучше, чем складывается. Кто из нас не хотел бы быть счастливее, здоровее, с лучшим чувством юмора, умнее, красивее? Большинство хотели бы. У тех, кто не хочет, обычно есть какие-то особые причины: он знаменит именно такой внешностью, мужчину, которого она любит, уже пугает, насколько она умна, и так далее. Учтите особые причины — и станет ясно, что даже здесь мы ищем лучшей жизни.

И кто из нас не хотел бы, чтобы наши дети хорошо начали жизнь? Особые причины здесь применить ещё труднее, и было бы извращённо или эгоистично не заботиться о том, какой жизнью они будут жить, и не думать, что эту жизнь можно было бы улучшить довольно стандартными способами: здоровье, ум, образование,

деньги — всё это поможет. И поэтому, может быть, вам следует бросить курить и меньше пить во время беременности. Может быть, вам с партнёром следует вместе почитать книги об уходе за детьми, готовясь к тому, что предстоит. А затем, может быть, когда это время наступит, вам следует как можно раньше научить их ходить, говорить, что-то делать, а не сидеть весь день перед телевизором. Вам следует следить за их питанием, думать о школе, подумать о том, чтобы купить им домашнее животное или подарить им брата или сестру. И так далее.

Важно здесь не увлекаться. Было бы странно быть совершенно равнодушным к качеству жизни своих детей, но странно также — что бы люди ни говорили — делать всё возможное, чтобы дать им наилучшее начало. В конце концов, у родителей есть собственная жизнь. И если следующее поколение важно, то важно и поколение, живущее сейчас. Важны оба. Всё же, даже если не следует делать всё, кое-что вам, конечно, следует делать, чтобы увеличить их шансы. Есть некоторые жертвы, которые нам следует приносить — не будем придираться к тому, какие именно и сколько, — чтобы улучшить качество будущих жизней.

Всё это, думаю, довольно бесспорно. Но, как я сказал ранее, здесь есть осложнения, и это соображение легко спутать с другим, тесно связанным, но всё же отличным. Это другое соображение спорно. А путаница возникает из-за вопросов идентичности.

## Разные люди

Вот интересный факт. Если бы Гитлер не вторгся в Польшу в том роковом сентябре 1939 года, почти никого из нас сегодня бы здесь не было. Только подумайте. Это было больше шестидесяти лет назад. Большинство из нас тогда не только ещё не родились, но в большинстве случаев наши родители, а иногда даже дедушки и бабушки ещё даже не встретились. И если бы не война — призыв, затемнения, вынужденные или ограниченные поездки, долгие ночи

в бомбоубежищах, — немногие из этих встреч состоялись бы. А если бы наши родители не встретились, мы бы не родились.

Что это за факт? Думаю, просто одно из обстоятельств. Ведь так уж случилось, и сегодня это, конечно, хорошо известно, что и сперматозоид, и яйцеклетка несут важный генетический материал, который влияет на идентичность человека, который потом рождается. Всё могло бы быть иначе. И можно вообразить ситуацию, когда вклад мужчины минимален: сперматозоид действует просто как катализатор, так что, какой бы ни был сперматозоид и от кого бы он ни был, ребёнок женщины тот же. Если бы это было так, у вас мог бы быть другой отец. Но на самом деле это не так. И на самом деле, если бы не Вторая мировая война и её многочисленные последствия для того, кто с кем встретился, большинство из нас никогда бы не существовало. Рассмотрим, например:

*Замены*. Прошла всего неделя после похорон, и Джин с матерью рассматривают старые фотографии футбольной команды. Вот его отец, между двумя мужчинами повыше, в заднем ряду. А вот капитан, в центре, с мячом. Мать кажется задумчивой, рассеянной. Она говорит: «Ты не знал, мы тебе никогда не говорили, но я чуть было не вышла за него вместо твоего отца». Он смотрит, видит его шевелюру, его мускулы, его подбородок как из комикса, и думает: может быть, для меня было бы лучше, если бы она ушла к нему.

Ошибается ли Джин? Да. По-видимому, события, происходящие после зачатия, влияют на качество данной жизни. Так что курит беременная женщина или нет, может сказаться на жизни определённого ребёнка. Но многие события, происходящие до зачатия, повлияют не только на качество, но и на идентичность ребёнка, который родится. И больше всего — замена одного мужчины другим. В зависимости от силы чувств его матери к тому другому мужчине Джину следует считать большой удачей, что он вообще жив.

Вот ещё один случай, отличный в одном заметном, но в конечном счёте неважном отношении:

*Отсрочки.* У Джины всегда были эти досадные аллергии — астма, плохая реакция на пищу, сверхчувствительная кожа. Долгое время это считали просто одним из тех обстоятельств, но в последние годы врачи предположили, что это может быть связано с работой, которой её мать занималась во время беременности. Они недолго были женаты, денег не хватало, и она работала на химическом заводе. Там производили краски, красители, растворители, многое из веществ, которые с тех пор запрещены. Она там не задержалась. Не хватало учителей, шла рекламная кампания, давали очень хорошие стипендии. Так что она бросила работу и пошла учиться. И теперь Джина часто думает, что для неё было бы лучше, если бы родители подождали с ребёнком месяцев шесть, может быть, год.

Ошибка ли это? Это не так очевидно, как в случае Джина, но и здесь вариантов меньше, чем может показаться. Джина не могла бы лучше начать жизнь, избежав аллергий, если бы её родители отложили создание семьи. Ведь идентичность детей определяют не только родители, но и время. Опять-таки так обстоит дело из-за подробностей биологии. Возьмите эмбрион, заморозьте его — и, может быть, определённый человек сможет родиться позже, чем обычно. Но, как в случае Джины, возьмите другие, более поздние сперматозоид и яйцеклетку, пусть даже от тех же родителей, — и, поскольку генетический материал иной, родится другой ребёнок. Не убеждены? Допустим, у неё есть сестра Джейн, на год младше. Если бы её родители отсрочили рождение детей и уменьшили семью, оставив лишь младшего ребёнка, у них была бы Джейн, а не Джина. Существование Джейн, как ваше и моё, не зависит от существования или несуществования какой-то старшей сестры.

Эти случаи — с разными родителями, во-первых, и с разным временем, во-вторых, — бесспорны. Рождается другой человек. Другой случай может быть более спорным, а его отношение к идентичности — менее прямым:

*Раньше и позже.* Шинейд и Шивон уже беременны. Но есть осложнения. Если они не пройдут лечение, их дети будут слепыми. Но есть различие. Ребёнок Шинейд ослепнет в зрелом возрасте, вероятно, лет в тридцать. Ребёнок Шивон будет слепым от рождения. Но лечение сложное и рискованное и для матери, и для ребёнка. Решать им, но врачи советуют от него отказаться. В конце концов, даже слепому стоит жить.

Проходит много лет, и ребёнок Шинейд — назовём её Агнес — теряет зрение. Она думает: если бы мама прошла лечение и оно удалось, я бы сейчас этого не переживала, не ослепла бы скоро. И это правда. У Агнес — того же самого человека — могла бы быть жизнь, в которой она не слепнет. А как же ребёнок Шивон? Это Джеймс. И он думает: если бы мама прошла лечение, я бы не был всегда слепым. Правда ли это? Мог ли тот же самый человек быть зрячим от рождения?

На этот вопрос нет лёгкого ответа. Если мы думаем, что идентичность зависит от непрерывности тела, то Джеймс действительно существовал бы в любом случае — слепым или зрячим, в зависимости от операции. Ведь после того, как образовался эмбрион, то же самое тело продолжает существовать, пусть и изменённое в некоторых отношениях. Но если мы думаем, что идентичность зависит от психологии, то это менее ясно. Слепота составляет большую разницу, и, будь он зрячим, почти весь опыт Джеймса, его убеждения, взгляды, интересы, отношения на протяжении всей жизни были бы другими. В одном смысле он был бы другим человеком. И потому в одном смысле, если бы Шивон прошла лечение, Джеймс никогда бы не существовал, а вместо него существовал бы другой ребёнок, может быть, тоже по имени Джеймс, а может быть, и нет.

Итак, два взгляда, и я не уверен, что есть способ решить, какой верен. Это зависит отчасти от того, что мы считаем важным для идентичности, а отчасти — от старого спора о природе и воспитании. Я исхожу из того, что многое в нашем мышлении и многое в нашем характере зависит от нашего опыта и от того, как

нас воспитывали. Так что если бы меня в однодневном возрасте усыновила японская семья, кормила большим количеством рыбы и воспитала борцом сумо, я был бы по меньшей мере очень непохож на того человека, которым являюсь сегодня. Но, может быть, гены делают больше работы, чем мы часто думаем. И исследования однояйцевых близнецов, разлучённых при рождении, часто указывают на то, что значительная часть нашего характера и личности не поддаётся влиянию опыта и среды, оставаясь в основном той же, что бы с нами ни происходило.

Впрочем, решать это нам не нужно. Я поднимаю этот вопрос, чтобы противопоставить ему ясные и бесспорные случаи и отделить их. Измените родителей или — с некоторым запасом — время зачатия, и будут существенные и физические, и психологические различия. В таком случае рождается другой человек. Измените эмбрион так, что в дальнейшей жизни произойдут или будут предотвращены изменения, — и тот же человек получит выгоду или вред. Промежуточный случай, когда тот же организм на всём протяжении ведёт совершенно иную жизнь, можно отныне оставить в стороне.

Вернёмся немного назад. Я сказал, что есть некоторые жертвы, которые нам следует приносить, чтобы улучшить качество будущих жизней. Я сказал, что это бесспорно. Но затем я добавил, что загадки идентичности могут привести нас к смешению этого бесспорного утверждения с другим. Так что же это за два утверждения? Первое таково: если есть определённая жизнь, определённый человек, и мы можем довольно легко улучшить эту жизнь, то нам следует это сделать. И, безусловно, при прочих равных лучше, если определённые жизни складываются лучше. Более спорное утверждение таково: если мы можем довольно легко выбрать одну очень хорошую жизнь вместо другой, несколько менее хорошей, то нам следует это сделать. Думаю, менее несомненно, что, когда жизни разные, лучше, если проживаются хорошие, а не менее хорошие жизни.

## Лучшие люди

Вот, стало быть, хороший вопрос: лучше ли, если проживаются лучшие жизни? Опять-таки разные люди придерживаются разных взглядов, но, когда я расспрашиваю, оказывается, что большинство людей думают, что лучше. Но верно ли это? Рассмотрим такой случай — вариант ставшего теперь знаменитым примера, предложенного Дереком Парфитом:

*Юная девушка.* Она ещё не беременна, но Шэрон очень хочет ребёнка. И она не принимает таблетки и не пользуется другими противозачаточными средствами. Это сводит с ума её мать, её учителей, её врача. И все они говорят ей, что ей следует подождать: заниматься сексом для удовольствия, если уж ей так хочется, но позаботиться о том, чтобы ребёнок не родился. Ведь только подумай, каково придётся ребёнку сейчас, когда так мало денег, она ещё учится в школе, и, скорее всего, она даже не будет знать, кто отец. Никто не хочет сказать, что жизнь у её ребёнка была бы плохой, но она безусловно была бы менее хорошей, чем могла бы, и он или она был бы в невыгодном положении по сравнению со многими другими детьми. Гораздо лучше, следовательно, подождать, пока она станет старше, устроеннее, зрелее. Отложить, скажем, лет на десять. Тогда она сможет дать ребёнку гораздо лучшее начало жизни.

Допустим, доводы действуют, и её убеждают подождать. Принимает ли она правильное решение? Соблазнительно думать, что да. Если вы можете дать своему ребёнку лучшее начало с малыми затратами или вовсе без затрат для себя или кого-либо ещё, то, конечно, вам следует это сделать. В случае Шэрон затраты есть: она хочет ребёнка сейчас и будет расстроена, раздражена, с ней будет трудно жить, если ей придётся ждать. Но это не огромные затраты, и мы можем вообразить, что её убедили, что они явно возмещаются лучшей жизнью впереди.

Заметьте, однако, что здесь есть некоторая двусмысленность. Подождав, она даст своему ребёнку лучшее начало и лучшую

жизнь. Но это будет другой ребёнок. Скорее всего, и отец будет другой. А даже если нет, промежутка времени всё равно достаточно, чтобы ребёнок, рождённый тогда, был другим человеком, чем любой ребёнок, которого она могла бы родить сейчас. Допустим, чтобы это стало яснее, она хочет девочку. Если она родит её сейчас, то назовёт Кристал. Но вкусы меняются. И более поздний ребёнок, тоже девочка, получит более надёжное имя Энн. Так что, что бы мы ещё ни говорили, ожидание не принесёт пользы Кристал и не будет для неё лучше. Для неё — сейчас или никогда. Но будет ли ожидание лучше для Энн? Допустим, Шэрон решила иметь только одного ребёнка, так что, если у неё будет Кристал, Энн никогда не родится. Но она ждёт, Энн рождается и живёт очень хорошей жизнью. Лучше ли это для неё, к её выгоде? Безусловно, не в каком-либо обычном смысле. Обычно мы говорим, что кому-то лучше, когда сравниваем две ситуации, в которых он оказывается, и ставим одну из них выше другой. Энн существует и живёт хорошей жизнью. Но это не выгода в каком-либо обычном смысле. Ведь она не оказывается сначала несуществующей, так чтобы существование затем было для неё лучше.

Будет ли ожидание лучше для кого-нибудь? Весьма вероятно, да. Вероятно, будет лучше для родителей Шэрон, её учителя, может быть, даже её врача, если она подождёт. Вероятно, будет лучше и для общества в целом: более поздний ребёнок будет меньше нуждаться в поддержке социальных служб, а затем со временем, благодаря образованию, будет платить больше налогов. И вполне может быть в целом лучше для самой Шэрон, несмотря на её нынешнее разочарование, если она отложит рождение этого ребёнка на несколько лет. И эти разнообразные выгоды для существующих людей вполне могут дать превосходные основания подождать и родить вместо Кристал более позднего ребёнка, Энн.

Вот ещё одно основание. Допустим, её убедили, что любой ребёнок, которого она родит сейчас, будет жить очень плохой жизнью, жизнью, которую не стоит проживать. Вообразите, что врачи обнаруживают какую-то физическую проблему, которая со

временем, может быть, станет излечимой. Если, как я предположил, явно неправильно приводить в существование того, кому суждена горестная жизнь, то в свете этих сведений у неё есть очень веская причина подождать и родить более позднего ребёнка.

Вообразите, что ожидание никому не лучше. И, будет она ждать или нет, жизнь ребёнка стоит прожить. Просто более поздняя жизнь лучше. Следует ли ей при этих обстоятельствах подождать и родить более позднего ребёнка? Многие люди и многие философы, в том числе Парфит, думают, что ясно: следует. Так что они думают не только, что лучше, если определённые жизни улучшаются, но и что лучше, если мы выбираем для проживания лучшие жизни. И, что важно, они думают, что это лучше, даже когда это не лучше ни для кого.

## Связи

Вот наконец связь между числом и качеством, обещанная в начале. Мы искали довод в поддержку разделяемого многими взгляда, что лучше, если рождается больше людей. Хороший довод найти трудно. Но теперь вот что, конечно, верно: если мы думаем, что лучше, если проживаются лучшие жизни, то должны думать также, что лучше, если проживается больше жизней. Так что если Шэрон следует подождать и родить Энн, а не Кристал, то ей следует родить Энн в любом случае, входила ли Кристал в её планы или нет. Если лучше иметь хорошего ребёнка, чем того, который лишь достаточно хорош, то лучше — и, может быть, ещё очевиднее лучше — иметь хорошего ребёнка, чем никого.

Понять моё предположение здесь довольно легко, но принять его обычно труднее. Вот очевидное возражение. Одно дело — предлагать Шэрон подождать, когда она уже решила завести ребёнка, и совсем другое — убеждать её завести ребёнка, когда стать матерью, раньше или позже, вовсе не входит в её планы. Это, очевидно, слишком многого требовать. Что ж, часто, конечно, так и есть, но моё предположение не совсем так прямолинейно. Суть в

том, что, убеждая её подождать, мы хотим, чтобы она принесла некоторую жертву — ведь, в конце концов, она надеется на ребёнка сейчас, — ради того, чтобы достичь в целом лучшего результата. И я предполагаю лишь, что, если это верно, ей следует принести подобную жертву ради того, чтобы достичь в целом хорошего результата. А это будет хороший результат. Если лучше иметь Энн, а не Кристал, хотя это ни для кого не лучше, то лучше иметь Энн, чем вовсе не иметь ребёнка.

Отсюда вытекает второе возражение. Может быть, лучше иметь Энн, чем Кристал, раз уж она решила завести ребёнка, лишь потому, что это наименее плохой вариант. А ещё лучше, может быть, вовсе не иметь ребёнка. Так что если она даже не думает о ребёнке, то просто нет причин её к этому побуждать. Но тут упускается важный момент. Мы всё время говорили, что и Кристал, и Энн будут жить жизнью, которую стоит прожить. И никто не утверждает, что затраты для общества так велики, что было бы лучше, если бы эти стоящие жизни никогда не возникали. Единственное возражение против Кристал — что Шэрон могла бы лучше. А против Энн возражений нет вовсе.

И вот третье возражение. Конечно, мы можем ранжировать и сравнивать две жизни, говоря, что одна лучше другой, потому что, скажем, она дольше, или счастливее, или осмысленнее. Но далеко не очевидно, что мы можем сравнивать одну жизнь с отсутствием жизни вообще. Чтобы сравнение состоялось, нужно, чтобы было что-то общее. Так что из того, что жизнь Энн лучше жизни Кристал, просто не следует, что её жизнь лучше, чем ничего. В этом возражении что-то есть. Но опять-таки оно упускает суть. Ведь утверждается не только, что жизнь Энн лучше жизни Кристал, но и что то, что она лучше, даёт нам основание её предпочесть. Это следующий шаг. И я предполагаю лишь, что если у нас есть основание предпочесть лучшую жизнь, то у нас есть основание предпочесть эту жизнь отсутствию жизни вообще. Если лучше, что проживаются лучшие жизни, — хотя это ни для кого не лучше, —

то хорошо, что проживаются хорошие жизни, даже когда это ни для кого не хорошо.

Случай Шэрон очень похож на множество реальных случаев. И он сложен, наводя на мысли о различных практических соображениях, как это часто бывает с реальными случаями. Поэтому, может быть, легче увидеть лежащую в основе мысль, если подумать о более простом и более искусственном случае. Так что вернёмся к планетам. И немного изменим ситуацию. Неделю назад Макс прищемил левую руку дверью космического корабля, и она всё ещё болит. При прочих равных он предпочёл бы пользоваться правой. Но его убеждают воспользоваться больной рукой, нажать левую кнопку, а не правую, чтобы привести в существование Зог, где люди живут очень хорошей жизнью, а не Зандер, где их жизнь умеренно хороша. И я утверждаю, что если он готов принести жертву, причинить боль руке в этом случае, то ему следует принести ту же жертву, так же причинить боль руке, когда, как в исходной ситуации, выбор стоит между Зогом и отсутствием планеты вообще. Если лучше иметь хорошую планету, чем ту, что лишь достаточно хороша, то лучше — и, может быть, ещё очевиднее лучше — иметь хорошую планету, чем ничего.

## Лучшие жизни?

Должно ли быть больше людей? Да, если должны быть лучшие люди. Если нам следует начинать лучшую из двух жизней или лучшую из двух планет, то нам следует начинать эти жизни, эти планеты в любом случае. Таково моё предположение. Но действительно ли правда, что нам следует начинать лучшие жизни? Действительно ли лучше, если проживаются именно эти жизни?

*Испытания.* Она теперь на пенсии, проработав бóльшую часть жизни в супермаркете. Она никогда не считала свою жизнь плохой — у неё есть друзья, хороший дом, она никогда серьёзно не болела, тьфу-тьфу, — но ей часто казалось, что жизнь могла бы быть лучше, и, может быть, была бы лучше, будь у неё другая работа. Но она

плохо начала в школе, не могла получить особой поддержки от матери и так и не догнала. Иногда кажется, что её дядя, вечно совавший нос куда не следует, был, может быть, прав. Может быть, было бы лучше, если бы она вообще не родилась, а её мать подождала и родила вместо неё другого ребёнка, позже.

Теперь мы не заглядываем вперёд, а оглядываемся на бóльшую часть жизни Кристал. Конечно, у неё может никогда и не быть таких мыслей. И, может быть, поощрять их было бы неправильно. Но допустим, они у неё есть. Права ли она, думая, что было бы лучше, если бы была начата лучшая жизнь и её самой никогда не было бы? Или подумайте о похожей ситуации, касающейся не того, какие жизни лучше начинать, а того, какие лучше спасать:

*Акулы.* Налетает ураган, и их лодка тонет вдали от цивилизации. Они плывут к необитаемому острову, но акула нападает на Алекса, откусывает ему ноги, и Роб добирается туда один. Он рад, что жив, потому что, хотя надежды на спасение практически нет, там есть рыба, и папайя, и где укрыться. И одиночество его не тяготит. Но он не может не думать, что было бы лучше, если бы погиб он, а выжил Алекс. Алекс всегда мечтал об островной жизни — познавать себя, писать мемуары на пальмовых листьях, смотреть на закат. Жизнь Роба здесь будет хорошей, но жизнь Алекса была бы лучше.

Здесь всё решает случай или акулы — кто живёт, а кто умирает. Но всё же у нас могут быть мысли о том, что было бы лучше всего, и мы можем соглашаться или не соглашаться с мнением Роба, что умереть следовало ему. А теперь сопоставьте это с ещё одним случаем, похожим на этот тем, что он касается спасения жизней, но отличным тем, что здесь нужно принимать решения:

*Лекарства.* Обещали не трогать больницу. Но в неё всё равно попали — рядом со складом, — и теперь не хватает крови, лекарств, даже бинтов. А жизней, которые нужно спасать, особенно из-за тифа, много. Помочь всем невозможно, и нужно принимать решения. Тратить лекарства на безнадёжные и почти безнадёжные случаи они не могут себе позволить. Приоритет отдаётся тем, на

ком большая ответственность, кто больше всего нужен: матерям с маленькими детьми, людям из мирной комиссии, тем раненым, у которых самих есть медицинские навыки. А затем, сделав здесь всё возможное, они стараются спасти тех, у кого будет более долгая или более счастливая жизнь.

Врачам постоянно приходится принимать такие решения, поскольку ресурсы всегда в чём-то ограничены. И их решения часто таковы, что мы можем их понять и с ними согласиться. Часто, спасая более молодые жизни, они думают о тех, кто может больше дать обществу, или о лучших шансах на выздоровление, или о кормильцах семей. Врачи здесь об этом думают. И ставят этих людей на первое место. Но затем они сосредоточиваются на тех, кто обещает более долгую и счастливую жизнь, считая, что так будет лучше в целом, даже если это не приведёт к лучшим последствиям в чём-то ещё. Правы ли они?

Думаю, все эти люди ошибаются. Одно дело — сопоставить одну жизнь с другой и утверждать, что одна из них в целом лучшая жизнь. Во всех приведённых случаях такие суждения можно правильно выносить. Но другое дело — настаивать, что лучше, если проживаются лучшие жизни. Для кого лучше? В этих случаях — ни для кого. Так почему это лучше? Сказать, думаю, невозможно.

Здесь есть возражение. Его уже касались и откладывали ранее, но оно нуждается в дальнейшем обсуждении. Кто-то может сказать: для Кристал лучше родиться, и, точно так же, для Энн лучше родиться. Пока это ничья, но, конечно, следует добавить, что, поскольку Энн живёт лучшей жизнью, родиться для неё, пожалуй, даже лучше, чем для Кристал. И потому лучше всего, если начнётся её жизнь. Но меня это не убеждает. У каждой из них лишь одна попытка жизни, и для каждой из них жизнь вполне стоит того, чтобы её прожить. И если мать хочет ребёнка сейчас, это кажется мне достаточной причиной, чтобы родилась Кристал, а не Энн. Или возьмите случай с больницей. Хотя у вас с подругой обеих хорошая жизнь, вы склонны к унынию, а она всегда полна энергии. Вам обеим нужно лечение, но его хватит лишь на одну. Мне не кажется

справедливым, чтобы его получила она лишь потому, что она будет немного счастливее вас. Мне кажется справедливее, чтобы кто-нибудь подбросил монетку.

## Должно ли быть больше людей, и лучших?

Некоторое время назад я упоминал Гитлера. Он, конечно, был тем, кого очень увлекала идея существования, как он это понимал, лучших людей. Большинство из нас противостоит почти всему, за что он выступал. И поэтому мы отвергаем любую такую огульную идею, что арийцы хороши, а евреи плохи. Мы считаем неправильным изолировать, насильственно стерилизовать, уничтожать людей и группы людей. А тем, у кого есть физические или умственные нарушения и ограничения, следует, как мы считаем, помогать, а не отбрасывать их. Наследие такого противостояния всё ещё с нами. Кит Джозеф погубил свои шансы стать лидером тори речью 1974 года, в которой предложил приложить усилия к сокращению числа подростковых беременностей. Ганса Айзенка, Артура Дженсена, а позднее авторов «Колоколообразной кривой» поносили за их якобы научные попытки связать сначала расу и класс с интеллектом, а затем интеллект или его относительное отсутствие — с преступным и антиобщественным поведением. Многие из нас за всеми такими рассуждениями усматривают несомненные остатки нацистской программы.

Если, однако, взглянуть шире, наше отношение к евгенике, к «науке о добром рождении», окажется менее однозначным. Особенно в первые десятилетия XX века такие идеи были более или менее общепринятыми: Г. Уэллс и Джордж Бернард Шоу — лишь самые известные из их сторонников, а Бертран Рассел — по крайней мере попутчик. И хотя сегодня мы можем противостоять и методам Гитлера, и многим из его огульных утверждений, лежащая в основе мысль — что при определённых болезнях и нарушениях жизнь хуже, чем была бы без них, — это мысль, с которой почти все мы

согласны. Многие из нас согласны также, что, при условии законности средств, было бы хорошо, если бы эти болезни и нарушения можно было устранить и если бы можно было предпринять шаги к улучшению качества новых жизней. Так что аборты по соображениям качества жизни, «дизайнерские дети», цели проекта «Геном человека» — всё это, хотя и спорно, вполне допустимые темы для разговора. Хотя упор здесь часто делается на отдельные случаи и индивидуальный выбор, есть вопросы и о более широких и общественных темах. Так, в Британии тревожатся, что именно средний класс рожает недостаточно детей, а в США соответствующая озабоченность сосредоточена на различиях в рождаемости между, как это сформулировано в переписных листах, европеоидами и латиноамериканцами. Язык, может быть, иной, о евгенике как таковой упоминают редко, но заботы те же.

Противники таких тенденций часто твердят о правах — правах нерождённых или неограниченном праве на продолжение рода. Или отрицают, что вообще есть такие вещи, как нарушения и ограничения возможностей. Я предлагаю иной путь. Даже если нам следует надеяться уменьшить надлежащими средствами число плохих жизней, тех, которые не стоит проживать, совсем не ясно, что нам следует надеяться ещё и заменить достаточно хорошие жизни ещё лучшими. И, конечно, многие болезни и нарушения, даже если снижают качество жизни, всё же оставляют её вполне стоящей того, чтобы её прожить. Так что, даже если не было бы плохо, если бы проживались только очень хорошие жизни, это, насколько я могу судить, не было бы и особенно хорошо.

И так же — с бóльшим числом жизней. Я доказывал, что здесь есть связь. Если было бы лучше, если бы проживались лучшие жизни, то было бы лучше и если бы проживалось больше жизней. Католики, в частности, считали, что, по крайней мере при прочих равных, нам следует плодиться и размножаться и увеличивать число жизней. Это, говорили они, было бы хорошо. И даже те, кто прямо не разделяет католического взгляда, часто думают, что было бы лучше, если бы людей было больше в мире или, поскольку мир

сейчас, по-видимому, довольно полон, на других планетах. Но опять-таки мне кажется, что, хотя не было бы плохо, если бы людей было больше, это не было бы и особенно хорошо.

Важно, мне кажется, чтобы действительные жизни стоило проживать. Важно также, чтобы эти действительные жизни там, где возможно, ещё улучшались, становясь ещё лучше, чем были бы иначе. Есть, как я говорю, пределы жертвам, которые нам следует здесь приносить, но не будет неразумным иногда просить нас помогать друг другу. Но примерно на этом жертвы и должны заканчиваться. Я не пошевелил бы и пальцем ни для того, чтобы привести в существование новый мир, ни для того, чтобы отвергнуть Зандер в пользу Зога.

*Глава 10*

# Важна ли реальность?

*…под реальностью я понимаю магазины вроде «Селфриджес», и омнибусы, и «Дейли экспресс».*
(Т. Э. Лоуренс, 1929)

Я терпеть не мог фильм «Влюблённый Шекспир». Будь это просто история, выдуманная от начала до конца, она была бы совсем неинтересной. Интересным её должно было делать то, что она о Шекспире. Но на самом деле она вовсе не о Шекспире. Он не был таким, не говорил этих слов, почти ничего из этого не делал. Фильм претендовал на то, чтобы быть о реальности, но не был. «Матрица» мне тоже не особенно понравилась. Это фильм другого рода. Хотя он явно вымысел от начала до конца, он задаётся целым рядом вопросов о природе и важности реальности. Некоторые из них — хорошие вопросы, но они теряются в битве добра со злом и в спецэффектах. И он слишком длинный.

Реальность для нас важна. Когда мы смотрим фильмы о Шекспире, или Оскаре Уайльде, или Сильвии Плат, большинству из нас небезразлично, чтобы подробности были более или менее точными. Мы ждём от фильма, что он скажет нам что-то правдивое о том, какими были эти люди. Другие фильмы, как «Матрица», «1984» или «Шоу Трумана», сами показывают, насколько людям небезразлична реальность и как важно для них не быть унесёнными потоком иллюзии, сколь бы утешительной она ни была.

Некоторые из этих забот о реальности более или менее просты и вполне объяснимы. Одна очевидная и несложная причина правильно знать факты, видеть вещи такими, каковы они есть, — в том, что часто нам так лучше и легче. Знать, как обстоят дела, — значит кое-что знать о том, как они будут обстоять, и потому быть

лучше готовым к тому, что произойдёт дальше. И часто смысл фильмов и литературы в том, что соприкосновение с реальностью делает жизнь богаче, счастливее, полнее. Но есть ситуации, в которых заботу о реальности понять труднее. Кто-то хочет знать правду о своём генетическом устройстве, хотя всё равно не сможет предотвратить болезнь. Другой человек настаивает на том, чтобы узнать все подробности того, как в автокатастрофе погибла его сестра. Третий, кажется, одержим вопросом, был ли какой-то комментарий бывшего парня, сделанный много лет назад, искренним или просто вежливым. Важно ли что-нибудь из этого? Зачем заботиться о реальности, когда она ни на что не влияет, когда вам от неё никакого проку?

А в других случаях заботу о реальности откладывают в сторону. Люди часто хотят от неё сбежать — может быть, с помощью наркотиков и алкоголя, или сказочного отпуска где-нибудь в жарких краях, или увлёкшись реалити-шоу. Они прячут голову в песок — может быть, когда болеют, или когда что-то плохое происходит на работе или в отношениях. Они могут быть странно равнодушны к тому, такие ли вещи, какими кажутся, — как с поддельными или настоящими бриллиантами, неправдоподобно волевым подбородком, цветом чьих-то волос.

В общем, следовательно, многое здесь неясно. Когда же реальность для нас важна? Насколько важна? И — вот философский вопрос — должна ли она быть важна? Сначала я рассмотрю ряд привычных областей, где возникают эти вопросы о реальности. Некоторые из них связаны с темами предыдущих глав, а другие новы. А затем я перейду к менее привычной области, в которой потребуется больше времени, чтобы разобраться, и в которой загадка реальности ставится в более общей форме. Подумайте обо всём этом — и, может быть, мы лучше поймём, когда, как и почему реальность важна.

## Бог

Действительно ли важно, существует Бог или нет? Внесёт ли это в конечном счёте какую-то разницу в нашу жизнь? Многие мучились над религией и годами пытались решить, действительно ли есть Бог или Он — нечто, что мы вообразили или выдумали. Но важно ли это решить? Или терзаться из-за религии — просто пустая трата времени?

Вероятно, большинство людей согласны, что Бог, если Он есть, действует таинственными путями. Даже если века назад всё было иначе, теперь Он не станет являть Себя нам очевидным образом — появляясь из облаков, или раздвигая моря, или посылая кого-то творить от Его имени очевидные чудеса. И даже если Он сначала создал мир и всё, что в нём, и до сих пор поддерживает его, многие верующие согласны, что его существование не доказывает, что Бог существует. И многие из них также признают, что то, что мы находим в мире, не указывает ясно на Бога: церкви, мученики, хорошие люди были бы в любом случае. Не указывают, может быть, вещи и в противоположном направлении. Есть, конечно, скептики и атеисты, которые считают несомненным, что Его нет, доказывая на основании космологии, или эволюции, или непрестанного возникновения и нравственного, и природного зла, что мы здесь, должно быть, одни. Но другие, отрицая Бога, допускают, что доказательства их позиции нет. Для многих с обеих сторон, стало быть, существование Бога или его отсутствие — дело веры, от исхода которого в повседневном смысле зависит мало что или ничего. Так что неважно, реален Он или нет.

Здесь, однако, упущены две вещи. Во-первых, большинство людей верят, что Бог, если Он существует, внесёт большую разницу в то, что произойдёт — если вообще что-то произойдёт — в мире ином. Если Он существует, добрые будут вознаграждены и, может быть, злые наказаны, а если Он не более чем иллюзия, то ничего не произойдёт ни так, ни иначе. Так что если Бог есть, если Он реален, то вполне могут быть важные последствия для будущего. Тем не

менее исходное соображение остаётся в силе: существует Он или нет, Бог, по-видимому, не вносит никакой заметной разницы в здесь и сейчас.

Во-вторых, хотя сам Бог может не вносить никакой разницы, вера в Него часто вносит. Сравните эти два случая:

*Джек и Джилл.* Они вместе поднимаются на холм за водой. Весь день они работали в огороде, и нужно позаботиться о том, чтобы у рассады было вдоволь питья. Работы было много, и оба порядком устали. Но Джек чувствует себя хорошо — и по поводу жизни, и по поводу огорода, — уверенный, что через несколько недель у них будут салат, фасоль, редиска и многое другое. Еды будет вдоволь, и они смогут поделиться с друзьями и соседями. У Джилл есть сомнения. Если всё не съедят слизни, то опять доберётся соседский кот. Остальные пусть сами добывают себе еду. И вообще, работы всегда больше, чем он говорит, и вообще, она бы лучше съела пиццу. И почему им нужно ходить за водой на холм? Это очень странно.

У них явно разное отношение к жизни. И допустим — как действительно может оказаться, — что эти различия в отношении связаны с их разной верой в Бога. Джек знает, что доказательства нет, но верит, что Бог каким-то образом обо всём заботится и что в конечном счёте всё будет хорошо. Джилл думает, что на самом деле мы здесь совсем одни, наша жизнь бесформенна и навсегда во власти переменчивой судьбы. И эти разные верования пропитывают почти каждую сторону их жизни, окрашивая все их отклики и создавая реальные различия в их повседневном существовании. Поскольку у них разные убеждения о том, осмысленна ли жизнь, их жизни действительно осмысленны в разной степени. И можно пойти дальше. Они не только различны, но во многих отношениях жизнь Джека лучше. Он стойче, счастливее, полнее удовлетворён. Его вера в Бога ему на пользу.

Важно ли при всём этом, существует Бог или нет? Есть два взгляда. Некоторые подумают, что это вовсе неважно. Важна вера. Лучше, как Джек, верить в Бога, если от этого жизнь становится

лучше. И просто неважно, основана ли эта вера в сущности на иллюзии, на неспособности осознать то, что в конечном счёте есть безбожная вселенная. Другие настаивают, что важна истина. И если Бога нет, то лучше в это верить, даже если, как у Джилл, жизнь от этого становится труднее.

Так как же? Я здесь сразу прыгнул в глубокую воду, и мне труднее разобраться в этом случае, чем в некоторых из следующих. Но поскольку Бог и религия играют большую роль в жизни столь многих людей, может быть, стоит обсудить это первым. И, думаю, я склонен встать на сторону первой группы. Что касается этой жизни, трудно увидеть, чтобы было очень важно, есть Бог или нет.

## Искусство и природа

Мы часто получаем удовольствие от созерцания вещей. Но бóльшую часть времени у нас есть определённые убеждения о вещах, на которые мы смотрим. Важно ли, истинны ли эти убеждения? Подумайте о паре случаев:

*Подделка.* Бет и Сол никогда не сходятся во мнениях насчёт отпуска. Он любит город, она — деревню. Потом они обмениваются впечатлениями. В этом году он рассказывает ей, как, проведя часы перед полотнами Вермеера в Амстердаме, обнаружил, что одно из них — подделка. Была угроза со стороны террористов, поэтому подлинник сняли и повесили на его место почти идеальную копию. И никому не сказали! У неё было похожее. В Озёрном крае она по совету друзей, побывавших там годом раньше, посетила Тарн-Хауз. Проведя бóльшую часть дня в восторге от красот природы, она вернулась в гостиницу и лишь тогда узнала от какого-то американца с путеводителем, что всё это место — викторианская фантазия, Диснейленд раньше времени.

И Бет, и Сол разочарованы, узнав, что всё было не так, как казалось. Но действительно ли это важно? В конце концов, их привлекала прежде всего видимость — то, как лежит краска,

деревья на фоне озера, — а она одна и та же, какова бы ни была реальность за ней. Конечно, важна видимость?

Люди часто так думают, но мне это кажется не совсем верным. Сол предвкушал, что увидит Вермеера, определённую картину определённого художника, а не просто какую-то красивую цветную поверхность. А Бет думала, что любуется естественным пейзажем — чем-то, что противоположно человеческой изобретательности. Её тоже интересовало нечто за пределами или глубже простой видимости. Тем не менее, даже если мы согласны, что обоим было небезразлично, что они видят, думаю, нам не следует соглашаться, что Бет и Сол одинаково обмануты тем, как всё обернулось. Рассмотрим жалобу Сола, что он смотрел на подделку. Это не совсем верно, если подделка — это то, что сделано с намерением обмануть. Ведь допустим, копиист просто старался воспроизвести Вермеера как можно точнее. Конечно, музейное начальство затем использовало эту копию, чтобы обмануть публику и, что, может быть, важнее, террористов, но мы вполне можем понять почему. И тогда важным здесь, по-видимому, оказывается то, что вещь, которую видел Сол, выглядела точно как Вермеер. И то, что он понял в картине и узнал об искусстве, — как Вермеер использовал крошечные белые точки, чтобы вносить в картины свет, чем его интерьеры отличались от интерьеров его современников, почему трудно с уверенностью сказать, пользовался ли он камерой-обскурой, — ничто из этого не было иным через эту копию, чем было бы через подлинник. Сравните это с Бет. В её случае не было вообще никакой попытки подделки или обмана. И она вполне могла бы сама прочитать путеводитель. Но не прочитала и совершенно запуталась в том, что видела, думая, что природа может создать озеро именно с такими очертаниями, собрать вместе такое разнообразие деревьев, оставить голым этот скалистый выступ. Пока её не поправили, у Бет совершенно неверное представление о том, на что способна природа.

И у Бет, и у Сола ложное убеждение о том, на что они смотрят. Но у Сола это, по сути, единственное ложное убеждение. Бет,

напротив, ошибается во многом. И впечатление, которое Сол получает, глядя на копию, — в точности то впечатление, которое он получил бы, будь подлинник на месте. Но впечатление, которое Бет получает от того, что по сути является викторианским парком, совсем иное, чем любое впечатление, которое она получила бы от нетронутого природного мира. В её случае знатока или специалиста не удалось бы провести, тогда как в случае Сола его вполне можно было бы провести.

Вот, стало быть, предположение. Мы часто хотим быть в соприкосновении с реальностью и хотим, чтобы вещи были такими, какими кажутся. Но когда наш опыт будет одинаковым в любом случае, соприкосновение с реальностью на самом деле неважно.

## Измена

Люди часто изменяют тем, кого, по их словам, любят. Это может причинять много горя. А если не причиняет?

*Хитрец.* Жак ведёт двойную жизнь. В Лондоне он любящий муж, преданный отец, по-настоящему остепенившийся семьянин. Когда Алекс с работы связался с секретаршей из фирмы-клиента, Жак одним из первых стал ворчать о том, какая это глупость, какие муки он причинил жене, какой полный разлад для детей. И ради чего? Но всё это, конечно, блеф. Ведь когда он в Париже — а это бывает довольно часто, — он проводит много времени с Надин, встречаясь с ней в ресторанах, галереях, театре. Эта измена длится уже больше трёх лет. И Клэр до сих пор ничего не подозревает.

Как ему это сходит с рук? Что ж, всем известно, что он видится с Надин: в конце концов, она занимает довольно высокую должность в парижском отделении, и никто не возражает против их встреч время от времени — по делу или ради невинного удовольствия. Но никто не знает, сколько именно времени они проводят вместе, и сколько из этого — в четырёх стенах и ночью. И он думает: пока всё так и остаётся, пока никто не узнаёт, никакого вреда нет.

Прав ли он? Правда ли, как часто говорят, что то, о чём ты не знаешь, не может тебе повредить? Или, даже если она пребывает в, по-видимому, блаженном неведении, он всё же поступает с Клэр несправедливо или причиняет ей вред? Подумайте, как, если на него надавить, Жак будет оправдывать или извинять то, что делает. Он будет настаивать, что его поведение не вносит абсолютно никакой разницы ни для Клэр, ни для её жизни. Она не только не знает, что он затевает, и потому не расстроена, не огорчена и не уязвлена его бурным романом, — их отношения ни в чём заметном не изменились. Он по-прежнему покупает ей цветы, удивляет её романтическими выходными в Котсуолдсе, занимается с ней любовью на французский манер. В конце концов, он по-прежнему её любит, пусть и не исключая всех остальных. Сравните эту ситуацию со столь многими другими, где в результате романа в браке всё портится, хотя обманутый человек понятия не имеет почему. Здесь ничего подобного нет. И потому, раз жизнь Клэр ни в чём не стала хуже, чем была, трудно поверить, что с ней происходит что-то плохое, а значит, трудно поверить, что Жаку есть за что чувствовать себя виноватым.

По сути, Жак здесь ссылается на соображение, высказанное в конце предыдущего раздела. В действительности у него роман. Но опыт Клэр будет в точности тем же, есть у него роман или нет. Для неё, стало быть, эта реальность неважна. Так, во всяком случае, он рассуждает.

И всё же, вероятно, лишь горстка людей — и, может быть, горстка тех, кто сам уже замешан в каком-то подобном приключении, — будет вполне уверена в этом вердикте. У остальных останется смутное сомнение. Давайте в нём разберёмся.

Вообразите два будущих для Жака и Клэр. В первом он через три года всё-таки прокалывается. Счета по его кредитной карте подозрительно велики, и Клэр их обнаруживает. Или он забывает закрыть ноутбук после какого-то лихорадочного приступа переписки через Ла-Манш. Клэр опустошена, её мир рушится. Никто не усомнится, что после этого открытия дела Клэр плохи. Во

втором будущем Клэр через два года погибает в автокатастрофе. Она так и не узнаёт о Надин, и весь её опыт на протяжении всей жизни в точности таков, каким он был бы, если бы романа никогда не было.

Вы можете подумать, что, пока есть какой-то шанс, что Клэр узнает, Жак поступает дурно. Что бы ни значила для него Надин, рисковать столь многим плохо. Но если Клэр умирает, не узнав ничего до самого конца, то — облегчение: риск был велик, но, как оказалось, ему всё сошло с рук. А раз сошло с рук, то ничего плохого не произошло. Верно ли это? Допустим, она всё-таки узнаёт. Я бы сказал, что это открытие, безусловно, делает её жизнь хуже, по крайней мере на какое-то время. Но когда начались плохие времена? Если в нераскрытой измене нет вообще ничего плохого, то не может быть ничего плохого и в раскрытии такой измены. И тогда расстраиваться из-за этого со стороны Клэр совершенно неразумно. Мало кто из нас с этим согласится. Мы думаем, что она права, расстраиваясь, именно потому, что всё это время её обманывали. Дела были плохи шесть лет, хотя она только сейчас об этом узнала. А если это верно, то дела для неё плохи, даже если, поскольку она умирает, она так и не узнаёт. А если и это верно, то неправда, что важен лишь опыт. Реальность тоже важна.

Опять-таки здесь есть место, чтобы сказать кое-что об убеждениях. Клэр думает, что Жак ей верен, тогда как на самом деле это не так. Но, конечно, у большинства из нас есть ложные убеждения о множестве вещей каждый день нашей жизни. Обычно мы не думаем, что для нас плохо не находиться в полном соприкосновении с истиной. Скорее, плохо, когда на основе какого-то ложного убеждения мы принимаем решение, которое в итоге делает нашу жизнь хуже. Но с Клэр этого не происходит. И ещё одно соображение. Есть два способа заменить ложные убеждения истинными. Можно изменить реальность. А можно изменить убеждение. Может казаться ясным, что для Клэр было бы лучше, если бы Жак всё время был ей верен. Но было бы ли для неё лучше также узнать правду о его похождениях? Это, думаю, не так ясно.

## Виртуальная реальность

Более тридцати лет назад американский философ Роберт Нозик придумал один из самых знаменитых мысленных экспериментов в истории философии. Он примерно таков:

*Машина опыта.* Все мы знаем, что жизнь бывает тяжёлой. И нам хотелось бы, чтобы она была лучше. Могут ли помочь учёные? Они говорят, что могут. И изобретают машину, которая многое обещает. Хотите знакомиться с волнующими красивыми людьми на пляже на Мадагаскаре, гонять на «Феррари» на Гран-при Монте-Карло, покорить Эверест и пить шампанское? Они могут это устроить. Решите, что именно вы хотите, чтобы происходило, скажем, в ближайшие два года, сообщите учёным, войдите в машину — и всё это произойдёт.

Только на самом деле ничего не произойдёт. Машина может предложить виртуальную реальность, симуляцию — до последней мелочи — той жизни, которой вы хотите жить. На самом деле вы проведёте два года, плавая в резервуаре, поддерживаемые в живых проводами и трубками. Но вам будет казаться в точности так, будто есть песок, толпы, горы, — всё, как вы и задумали. Реальность будет одной, ваш опыт — другим.

Вообразите, что техника здесь совершенна. Ничего не сломается. Как только вы войдёте в машину, вы получите заранее выбранные переживания, не имея ни малейшего подозрения, что это всего лишь своего рода сон. Конечно, когда вы выйдете из машины, вы поймёте, что ничего из казавшегося на самом деле не происходило, но это должно, по словам учёных, показаться вам небольшой платой за два года острых ощущений. И вы всегда сможете снова войти в машину, заново запрограммированную, ещё на два года.

Приняли бы вы предложение учёных? Променяли бы вы два года реальности со всеми её взлётами и падениями на два года отборных переживаний? Или остались бы на месте?

Нозик уверен, что никто из нас, хорошенько всё обдумав, не вошёл бы в машину. Поначалу мы можем соблазниться, ведь мы можем полагать, что по-настоящему важно лишь то, как наша жизнь ощущается изнутри, а мы будем знать, что в машине все эти ощущения будут хорошими. Но подумайте ещё — и вы увидите, что реальность и соприкосновение с ней многое значат. И, по Нозику, жизнь в машине близка к смерти. Всякий, кто проведёт долгое время в такой среде, был бы, говорит он, просто комком — без надежды быть человеком какого-то определённого склада, без способности что-либо делать или вносить какую-либо разницу в мир, без шанса встретить какое-либо более глубокое или осмысленное существование, чем то, что может предложить простая машина. А всё это, настаивает он, нам небезразлично.

Так что дело может показаться ясным. Подумайте о машине опыта — и вы увидите, что реальности нет замены. Там, снаружи, есть мир, и мы хотим быть с ним бок о бок.

## Некоторые подробности

Но меня это не убеждает. Продумайте подробности мысленного эксперимента Нозика, обратите особое внимание на различные шаги внутри него, сравните некоторые реакции других философов — и, мне кажется, можно разумно выдвинуть ряд возражений.

Во-первых, есть соображение о времени. Я предлагаю здесь два года с возможностью продления. И, поскольку выход из машины может так вас удручить, вы, может быть, захотите этой возможностью воспользоваться. Но выбор всё равно за вами. Вы можете пробыть там два года, а можете в конце концов остаться навсегда. Обязательно ли не меньше двух лет? Не думаю, но мысль Нозика, по-видимому, в том, что никто из нас не захотел бы провести в машине долгое время. Может быть, на дождливый вечер — пожалуйста, но не на полгода.

Во-вторых, возможна путаница насчёт самого опыта. Кто-то может подумать, что машина предлагает лишь определённые приятные ощущения — то тёплое чувство, которое может возникнуть, когда всё идёт хорошо. Но, по-видимому, Нозик имеет в виду совсем не это. Машина предлагает нам определённые переживания во всей полноте подробностей, а не только их общие последствия. Связанное с этим опасение касается связи между опытом и тем, что переживается: кто-то может настаивать, что пережить восхождение на Эверест можно, лишь если действительно взбираешься на эту самую гору. Но мысль Нозика в том, что вам может по меньшей мере казаться, что вы восходите на Эверест, и потому у вас будет по меньшей мере опыт, как бы от настоящего. Так что запрограммируйте машину, войдите внутрь — и вам покажется, что вы действительно на Копакабане, пьёте мохито, чувствуете солнце на спине. А затем, как и в реальности, покажется, что вам тепло и вы пьяны. Так что машина даёт вам не реальность и не только её общие последствия, а кажущуюся реальность вместе с её последствиями.

В-третьих, и это связано с предыдущим, есть что сказать об удовольствии и счастье. Опять-таки мы уже касались этого ранее. Некоторые настаивают, что счастье больше, чем чувство, и что для подлинного счастья нужно какое-то соответствие между внутренними состояниями и внешней реальностью. Так что, даже если в машине возможна приятная жизнь, по-настоящему счастливы вы там быть не могли бы. Тем не менее вам могло бы казаться, что вы счастливы. И, соблазнившись машиной, вы могли бы подумать, что разница между кажущимся счастьем и настоящим просто не важна.

В-четвёртых, Нозик настаивает, что никто не вошёл бы в машину. Но даже если он имеет в виду именно это, подозреваю, что он имеет в виду также, что никто не должен входить в машину. Его мысль, по-видимому, в том, что, подумав как следует, мы поняли бы, что цена входа просто слишком велика. Так что всякий, кто вошёл бы, совершил бы своего рода ошибку.

## Наши разнообразные желания

Тот, кого соблазняет машина, должен, по Нозику, думать, что важен лишь поток опыта, то, как вещи нам кажутся. Забота о какой-либо лежащей в основе реальности представляется такому человеку ошибкой. Но затем, когда машина наконец вырастает перед ним, этот человек передумывает, обнаруживает, что хочет быть определённым, делать определённые вещи, выйти за пределы ухищрений выдуманного мира, — и отказывается войти.

Верно ли это? Ряд людей считали, что это очевидно верно и что нам не нужен пример Нозика, чтобы убедиться, что для нас важно больше, чем просто опыт. И даже набросать, о каких вещах любой из нас вполне может беспокоиться, достаточно, чтобы это показать.

Возьмём моё собственное положение. Есть вещи, которых я хочу для себя, — проехать на велосипеде Италию из конца в конец, попасть в пятницу в джаз-клуб; вещи для других людей — чтобы у моей подруги прошли головные боли, чтобы мой брат сдал экзамены по праву; и вещи для мира — скучно и банально, но я хочу, чтобы и Венеция, и тигры были спасены. Подумаем сначала о случаях, касающихся других людей. Я знаю их обоих и хочу, чтобы их жизнь складывалась хорошо. В этом нет ничего даже отдалённо загадочного, как нет ничего загадочного и в утверждении, что я хочу здесь большего, чем может дать машина опыта. Я хочу, чтобы реальность была определённой, а не просто казалась такой. Проясним это:

*Рука помощи.* Ваша мать теперь одна. И она ждёт ваших еженедельных визитов и ради физической, и ради душевной поддержки: кто-то сделает тяжёлую работу в саду, поможет ей с кроссвордом и хересом, повспоминает былые годы. Одному небу известно, сколько она протянула бы без вас. Но тут звонят учёные. Они предлагают два года в машине со скидкой. И обещают, что вам будет казаться, будто визиты продолжаются и у вашей матери всё прекрасно.

Конечно, вы не согласитесь. Пока вы там, может случиться что угодно — и, вероятно, случится. Особенно если наши действия нужны для благополучия тех, о ком мы заботимся, мы вряд ли станем помышлять об уходе в машину.

А теперь подумайте о более отдалённых случаях. Я не спасу Венецию или тигров. Честно говоря, я даже не так уж много сделаю, чтобы помочь. Им будет всё равно, как я проведу ближайшие два года. Но всё же я хочу, чтобы реальность была определённой, а не просто казалась мне такой. Я хочу, чтобы Венеция была спасена. Учёные уверяют меня, что два года мне будет казаться, что наводнения взяты под контроль, здания отремонтированы, но не переотреставрированы, а круизные лайнеры держатся на безопасном расстоянии. Но я хочу, чтобы это было правдой, а не просто верить, что это правда.

Наконец, мой собственный случай. Этот джаз. На самом деле неважно, попаду ли я туда: радио или компакт-диск почти так же хороши. А то, что предлагает машина, было бы в точности так же хорошо — она дала бы мне ровно те зрелища и звуки, что и присутствие на самом концерте. Так зачем утруждаться и идти? Зачем мучиться с аэропортами, целлофаном и сменой часовых поясов, если может казаться, что вы уже сейчас на пляже в Малайе? Зачем стоять в очереди в Диснейленде, если шлем виртуальной реальности может подарить вам аттракцион «Космическая гора»? И, любовь или секс, — какая разница, реален ли другой человек? Но и для меня у машины опыта есть свои пределы. Я не хочу лишь казаться, будто проделываю весь этот путь на велосипеде, запрограммировав машину и крутя педали. Это, конечно, было бы жульничеством. Отчасти я хочу выяснить, смогу ли я действительно это сделать — с этими горами, этой жарой и разными отвлечениями. Я хочу увидеть, какой я велосипедист, а не просто притворяться. А для этого мне нужно не лежание в какой-то машине, а велосипед и Италия.

Так что есть много вещей, которые меня интересуют и заботят и которые выходят далеко за пределы простого опыта. И я тут ничем не особенный — более или менее так у всех нас.

Значит ли это, что мы были бы безумцами, жертвуя слишком многим, если бы приняли предложение Нозика? Не думаю. Одно дело — согласиться, что важно больше, чем опыт, и другое — никогда не менять реальную жизнь на машинную замену. И есть три причины, по которым такой обмен можно было бы рассмотреть.

Во-первых, нас могли бы убедить, что наши заботы о реальности будут удовлетворены в любом случае, даже если мы в машине. Важно, чтобы ваша мать получала свой еженедельный визит. Но допустим, её навещает кто-то, кто ей кажется вами, а вам в машине кажется, что вы её навещаете. Разве это не так же хорошо для вас обоих, как более привычный визит? А ещё им так нужны добровольцы для эксперимента с машиной, что они обещают мне лучшее лечение головных болей моей подруги и частного репетитора для экзаменов брата.

Во-вторых, эти заботы, может быть, и так невозможно удовлетворить. Я хочу, чтобы тигров спасли, но уже слишком поздно. Сколь бы сильно я ни переживал, у меня здесь нет причины выбирать реальность вместо опыта. Так что, вместо того чтобы собирать деньги и подписи, писать депутатам, ездить в Индию, я вполне мог бы принять предложение учёных.

В-третьих, мы могли бы тщательнее подумать о том, что машина опыта может для нас сделать, и постараться лучше ею воспользоваться. Подумайте снова о своей матери. Вам не хочется входить в машину, оставляя её одну в реальном мире. И какой-то другой посетитель может оказаться не так хорош. Но допустим, она тоже входит в машину и получает там желаемые переживания: может быть, ей кажется, что вы навещаете её ещё чаще и дольше, а может быть, ей кажется, что она достаточно здорова и больше не нуждается в этих визитах. Не было бы это лучше для неё и не облегчило бы вам выбор машинной жизни? И это, конечно, общее соображение. Многое из того, что мы хотим делать в реальном

мире, — это, по сути, исправительная работа. Если машины могут дать более быстрое решение, нужда в этих занятиях исчезает. И подумайте о моей велопоездке. Правда, я не хочу лишь эрзац-поездки, жалкой копии настоящей. Но, конечно, машина опыта предлагает больше. Я мог бы запрограммировать её так, чтобы до последней мелочи казалось, что я еду на велосипеде по Италии, — мне кажется, что мне жарко, что я устал, натёр мозоли, мешаю машинам. И если отчасти я еду, чтобы испытать себя, посмотреть, действительно ли осилю это расстояние, то опять-таки и внутри машины опыта вполне может казаться, что я терплю неудачу. Ошибочно думать, будто машина может предложить лишь удовольствие и успех; она предлагает те переживания, которых мы хотим, какими бы они ни были. И потому трудно понять, почему Нозик думает, что всякий в машине был бы бесхарактерным, не человеком определённого склада, просто комком. Находясь там, я мог бы обнаружить, что как велосипедист я упорен или вял, осторожен или безрассуден, хорошо читаю карты или вечно сбиваюсь с пути.

### Внутрь или снаружи?

Наши заботы о реальности за пределами опыта, стало быть, не исключают напрямую того, чтобы мы воспользовались машиной опыта. Ведь, может быть, этим заботам более или менее одинаково хорошо служит и то, что мы внутри, и то, что снаружи. Но даже если не очевидно, что нам следует оставаться снаружи, из этого не следует, что нам когда-либо следует входить. Следует ли? Может ли когда-нибудь найтись причина предпочесть машину опыта реальности? Это вполне может зависеть от того, что реальность может предложить.

*Промывка мозгов.* Бад и Дин живут хорошей жизнью. Теперь каждый день они на пляже в Гонолулу: загорают, учатся сёрфингу, едят ананасы, знакомятся с девушками. И потрясающие рубашки.

Кто бы мог подумать, когда они записывались в морскую пехоту, что окажутся здесь?

Только на самом деле они не на Гавайях. И девушек нет. Они всё ещё в Корее, военнопленные, заперты в тёмной яме, лишены сна, на голодном пайке еды и воды. И конца этому не видно.

В действительности, стало быть, положение Бада и Дина далеко не хорошее. Но они этого не сознают и вместо этого верят, что прекрасно проводят время. Это не дело случая и не то, что они сами для себя выбрали, а, конечно, часть плана корейцев: промыть им мозги, размягчить их — и, может быть, они выдадут следующий этап военных планов. Это было бы плохо. Может быть, лучше знать, что тебя пытают, и оставаться верным, чем, якобы находясь на Гавайях, предать свою страну. Но допустим, этого не произойдёт. Они ничего не выдают. И сравните их участь с участью других пленных, Геда и Мэтта. С ними корейцы пробуют иной подход, и они полностью сознают тюрьму, охрану и свои ежедневные встречи с пыточными машинами. С чего думать, что их положение, при соприкосновении с реальностью, хоть в чём-то лучше положения Бада и Дина?

Некоторые возражения против машины опыта предполагают, что реальность лучше всего и что мы предпочтём горькую правду утешительному заблуждению. Но, конечно, это зависит от того, насколько плоха реальность. Возьмём ещё более крайний случай. Жизнь может быть настолько горестной, что вы думаете, что вам было бы лучше умереть. Но если смерть может быть лучше реальности вашего существования, то, конечно, и воображаемая жизнь может быть лучше? Так что, даже если в пользу реальности всегда можно что-то сказать, не ясно, почему она всегда должна одерживать верх.

Но всегда ли можно что-то сказать? В случае Бада и Дина реальность горька, а заблуждение, безусловно, утешительно. И когда опыт внутри машины разительно отличается от опыта вне её, может казаться, что в некоторых ситуациях первому следует отдать предпочтение. А как насчёт случаев, когда переживания

одинаковы? Вы можете взойти на Эверест и увидеть вид, а можете казаться себе восходящим и казаться видящим. И допустим, нет никаких других различий, которые нужно было бы учесть. Так что не так, например, будто машина дешевле или безопаснее реальности. И не так, будто воспоминания о настоящем дольше сохраняются или ярче. Тогда может показаться, что, когда всё остальное одинаково, у реальности есть преимущество. И, конечно, когда всё остальное одинаково, одно различие всё же остаётся. Когда вы в машине, вы верите — но ложно, — что восходите на Эверест. Когда вы на горе, ваши убеждения истинны. Может быть, поэтому у реальности и есть преимущество. Подумайте, однако, вместо этого о плохой ситуации. Подумайте о Геде и Мэтте. Лучше ли на самом деле сидеть в яме, подвергаясь пыткам, без шанса на спасение, чем лишь казаться себе в таком положении? Можно подумать, что есть некая ценность в соприкосновении с реальностью, когда эта реальность хороша. Но странно думать, что та же ценность есть, когда реальность плоха.

## Где мы сейчас?

Размышляя о реальности и о том, важна ли она, мы более или менее на всём протяжении предполагали, что знаем, что такое реальность, и что все мы бóльшую часть времени с ней сталкиваемся. И потому вопрос о том, важна ли реальность, отчасти есть вопрос о том, важно ли всё это — кока-кола, глобальное потепление, плазменные телевизоры, война с терроризмом. Но что, если мы ошибаемся? Я сказал, что в «Матрице» есть хорошие вопросы. Вот, более или менее, сцена из фильма:

*Цветовой код*. Ни в вас, ни в вашей жизни нет ничего особенного. Вы более или менее типичный продукт общества начала XXI века, с обычной чередой неприятностей на работе и в семье, обычными развлечениями и утешениями — пара отпусков в год, куча DVD, гольф — и, насколько можно ожидать, достаточно надёжным будущим. Но затем вас каким-то образом убеждают, что

всё это иллюзия и что абсолютно ничто в мире не реально. Кроме вас. Вам предлагают на выбор две таблетки. Или, как вы теперь понимаете, две кажущиеся таблетки. Примете красную — и узнаете, какова лежащая в основе реальность. Примете синюю — и ваша кажущаяся жизнь продолжится точно так же, как прежде. И, конечно, чтобы она продолжалась точно так же, как прежде, нужно, чтобы вы полностью забыли и своё открытие иллюзии, и предложение таблеток. Так что вы забудете.

Это наводит, конечно, на мысль, что, насколько вам известно, вы, может быть, прямо сейчас находитесь в машине опыта. И внутри машины это кажущееся предложение кажущимся образом делается. Вы можете остаться внутри, и иллюзии продолжатся, а можете выйти и узнать, что приготовила реальность. И можно уточнить несколько подробностей. Во-первых, вы, безусловно, реальны. Если вы примете красную таблетку, вы узнаете, что такое реальность. И вы будете помнить иллюзорный мир, который оставили позади. Вы сможете их сравнить и поразмыслить о мудрости своего выбора. Я говорю, что вы реальны, но, хотя у вас есть нечто вроде человеческого ума, вы можете и не быть человеческим существом. Во-вторых, вы не знаете, реальны ли другие люди. Может быть, некоторые реальны, а может быть, все они — часть иллюзии. Принять красную таблетку может означать обнаружить, что вы совершенно одни, а может — сорвать покровы иллюзии и с других. В-третьих, других таблеток нет. И ваше решение необратимо.

Приняли бы вы эту таблетку? Некоторые, может быть, приняли бы. Жизнь у них может быть совсем плоха, или у них может быть сильная тяга к приключениям, или они могут верить, что в каком-то смысле избраны для этого. Но я бы не принял. Если я сейчас в машине опыта, я рад остаться на месте.

## Важна ли реальность?

Часто важно, чтобы мы знали правду о вещах. Ведь часто, если знаем, дела у нас пойдут лучше. Даже если еда вкусна, лучше знать, не отравлена ли она. Но часто также неважно, что мы во многом живём в неведении. Я почти ничего не знаю о Византии, и это неважно. В некоторых случаях, однако, есть загадка. Это случаи, в которых, хотя поначалу нам может казаться, что важно знать правду, нелегко сказать почему. И хотя все они поднимают некоторые вопросы о реальности, рассмотренные здесь случаи не одинаковы. Они в разных отношениях сходны друг с другом и противоположны друг другу. И мы склонны реагировать на них по-разному.

Так, в отношении существования Бога, хотя то, во что мы о Нём верим, важно и вносит разницу в нашу жизнь, сама реальность, пожалуй, неважна. Но если одни подумают, что лучше верить в Бога, если от этого жизнь лучше, то другие подумают, что лучше знать правду, даже если жизнь тогда сложится хуже. Похоже обстоит дело и с изменой по отношению к Клэр. Верен Жак или нет, её переживания будут одинаковы. Но многие подумают, во-первых, что тем не менее плохо, что её обманывают, и, во-вторых, что для неё было бы лучше знать правду.

Случаи с Бет и Солом похожи друг на друга и на приведённые выше в одном отношении. Оба разочарованы тем, что всё было не так, как казалось. Но в других отношениях есть различия. Подлинная картина или нет, опыт Сола будет одинаковым. И я предполагаю, что в таком случае неважно, видит ли он настоящую вещь. Но в случае Бет настоящая природа и имитация природы дадут разный опыт. Так что то, что она видит, важно.

Одна загадка здесь в том, почему случай Сола отличается от случая Клэр. Для обоих опыт сложится определённым образом независимо от того, таковы ли вещи, какими кажутся. Но допустим, они узнают правду. Клэр легко посочувствовать; Солу, как я предположил, посочувствовать труднее. Только в его случае я хочу

сказать, что реальность неважна. Но в чём разница? Хорошего объяснения этому я не дал. И причина в том, что я не знаю.

Все эти случаи, даже случай с Богом, касаются подробностей по сравнению с машиной опыта. Ведь там предполагается, что по меньшей мере в течение долгих периодов ничто может не быть таким, каким кажется. Было бы это плохо? Думаю, Нозик прав, полагая, что нам важно больше, чем опыт, но неправ, думая, что поэтому у нас есть веские причины не входить в машину опыта. Но, конечно, то, что нам важно больше, чем опыт, уже предполагает, что есть нечто большее, чем опыт, о чём можно заботиться. Может быть, его нет. И, может быть, вымысел Нозика уже стал фактом. Но, как я предполагаю, беспокоиться не о чем.

# Примечания и литература

*[Номера страниц указаны по оригиналу.]*

## 1. Где мне найти ответы?

с. 1. «В ожидании Годо» (Waiting for Godot), наряду с другими произведениями, имеющими отношение к темам этой книги, входит в «Полное собрание драматических произведений» Сэмюэла Беккета (Complete Dramatic Works).

с. 5. Бóльшая часть того, что мы знаем о Сократе — его философских интересах, суде над ним, его отношении к предстоящей смерти, — происходит из диалогов Платона, особенно «Евтифрона», «Апологии Сократа», «Критона» и «Федона». Они доступны во многих современных изданиях.

с. 9. Взгляды Канта, на которые я здесь ссылаюсь, взяты из его небольшой статьи «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?» Её, вместе с другими короткими и легко читаемыми работами, можно найти в сборнике «К вечному миру и другие очерки» (Perpetual Peace and Other Essays).

с. 12. Эта история о Карнеаде встретилась мне в книге Дональда Дадли «Цивилизация Рима» (The Civilization of Rome). Но её пересказывают многие.

с. 12. Скептицизм Юма — тема и «Трактата о человеческой природе», и «Исследования о человеческом познании». О том, что Юм пробудил его от «догматического сна», Кант говорит в «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике».

с. 13. Шопенгауэр — в его громадном труде «Мир как воля и представление», Ницше — повсюду.

с. 13. Витгенштейн стремится к системе в «Логико-философском трактате», но затем, по-видимому, выступает против системы в «Философских исследованиях».

## Дополнительная литература

Хорошие введения в философию: Simon Blackburn, Think; Nigel Warburton, Philosophy: The Basics и гораздо более короткое Thomas Nagel, What Does It All Mean? («Что всё это значит?»). Книга Алена де Боттона «Утешение философией» (The Consolations of Philosophy) хорошо доказывает, что не стоит забывать всех мёртвых белых мужчин.

Два полезных веб-сайта, оба с разнообразными материалами, в том числе многими относящимися к этой книге: http://plato.stanford.edu/contents.html — превосходная онлайн-энциклопедия философии; http://www.philosophytalk.org/ —

радиопрограмма, прежние выпуски которой хранятся в архиве и потому по-прежнему доступны. Её стоит и посмотреть, и послушать.

## 2. Священна ли жизнь?

с. 16. Некоторые взгляды Мэри Уолстонкрафт на ценность жизни животных изложены в её книге «Подлинные истории из реальной жизни» (Original Stories from Real Life).

с. 16. Ницше в Турине — по рассказу в книге Рональда Хеймана «Ницше: критическая биография» (Nietzsche: A Critical Life).

с. 18. Об этих различениях между разными видами ценности см.: Рональд Дворкин, «Власть над жизнью» (Life's Dominion).

с. 22. «Человек по-настоящему этичен…» — из книги Альберта Швейцера «Культура и этика» (Civilization and Ethics).

с. 24. Хорошее обсуждение некоторых из приведённых здесь взглядов см.: J.J.C. Smart, Bernard Williams, Utilitarianism, For and Against («Утилитаризм: за и против»).

с. 24. Обсуждение анэнцефалии и связанных с ней нравственных вопросов см.: Peter Singer, Rethinking Life and Death («Переосмысляя жизнь и смерть»).

с. 27. Обсуждение самоубийства Чаттертона см.: Al Alvarez, The Savage God («Жестокий бог»).

с. 28. «Диалоги о естественной религии» Дэвида Юма, не опубликованные при его жизни, — шедевр. Существует множество современных изданий.

### Дополнительная литература

Лучшее известное мне обсуждение святости жизни, одновременно доступное и подробное, даёт книга Рональда Дворкина «Власть над жизнью» (Life's Dominion).

Гораздо более краткие обсуждения можно найти в ряде книг, в том числе: Peter Singer, Practical Ethics («Практическая этика»); его же Rethinking Life and Death; Jonathan Glover, Causing Death and Saving Lives; Rosalind Hursthouse, Beginning Lives.

Книга Michael J. Coughlan, The Vatican, the Law and the Human Embryo даёт подробный отчёт о позиции Католической церкви по вопросам, касающимся святости жизни.

## 3. Плохо ли умереть?

с. 32. Многие из сохранившихся сочинений Эпикура можно найти в сборнике Hellenistic Writings: Introductory Readings. Взгляды Лукреция на смерть изложены в его поэме «О природе вещей» (De Rerum Natura), существующей во многих изданиях и переводах.

с. 33. Подробнее о Демокрите — вводные комментарии, фрагменты, свидетельства современников — см.: Jonathan Barnes, Early Greek Philosophy («Ранняя греческая философия»).

с. 33. «Приучай себя к мысли…» — Эпикур, «Письмо к Менекею».

с. 35. Ряд «Опытов» Монтеня касается вопросов, имеющих отношение к этой книге. См. полное издание «Опытов».

с. 35. Рассказ Босуэлла о смерти Юма содержится в его частных бумагах.

с. 35. «Смерть — не событие жизни»: Людвиг Витгенштейн, «Логико-философский трактат», 6.4311.

с. 35. «…благовидный вздор, что гласит…»: Филип Ларкин, «Обада» (Aubade), в сборнике Collected Poems.

с. 38. Жан-Доминик Боби, «Скафандр и бабочка» (Le Scaphandre et le Papillon).

## Дополнительная литература

Темы этой и следующей главы, в том числе концепция лишения, хорошо обсуждаются в ряде книг, включая: Fred Feldman, Confrontations with the Reaper; F.M. Kamm, Morality, Mortality; Jeff McMahan, The Ethics of Killing. Два очень полезных сборника: John Fischer (ed.), The Metaphysics of Death и Peter French, Howard Wettstein (eds), Life and Death: Metaphysics and Ethics.

О литературных и культурологических подходах к смерти и умиранию см. особенно: Филипп Арьес, «Человек перед лицом смерти» (The Hour of Our Death); Jonathan Dollimore, Death, Desire and Loss in Western Culture; а об одном особом роде смерти — Al Alvarez, The Savage God: A Study of Suicide.

## 4. Какие смерти хуже?

с. 46. Гораздо подробнее о психологической связности см. особенно часть III книги Дерека Парфита «Причины и личности» (Reasons and Persons).

с. 47. Подробнее о душевной жизни животных см.: David DeGrazia, Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status.

с. 49. О Фрэнсис Фармер есть биографический фильм 1982 года, названный, что, пожалуй, неудивительно, «Фрэнсис».

с. 49. Важные, хотя местами трудные, обсуждения смерти в разном возрасте см. в книге Jeff McMahan, The Ethics of Killing.

с. 52. «Скажите им, что у меня была чудесная жизнь» — цит. по биографии, написанной Рэем Монком: «Людвиг Витгенштейн: долг гения» (Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius).

с. 54. Вопросы посмертного вреда довольно подробно исследуются в книге Joel Feinberg, Harm to Others.

с. 54. Эта история о Кафке описана в биографии писателя, написанной Максом Бродом.

с. 56. Подробнее о двух из затронутых здесь спорных вопросов можно узнать в интернете по запросам «German cannibal» и «Alder Hey Hospital». О третьем см.: http://www.bodyworlds.com.sg/en/news-01.htm

## 5. Буду ли я жить дальше?

с. 60. Подробнее о демифологизированной религии см. современную классику — «Честно перед Богом» (Honest to God) епископа Джона Робинсона и «Море веры» (The Sea of Faith) Дона Капитта.

с. 62. «Говорю вам тайну…»: апостол Павел, 1 Кор. 15:51–55.

с. 63. Более полное обсуждение истории с людоедами см. в статье Linda Badham, ‘Problems with accounts of life and death’, в книге P. Badham, L. Badham, Death and Immortality in the Religions of the World. Как следует из названия, там много и другого, относящегося к этой главе.

с. 66. Взгляды Сократа на загробную жизнь лучше всего видны в «Федоне».

с. 67. Дуалистическое учение Декарта см. особенно в «Размышлениях о первой философии» (множество изданий).

с. 68. Энергичную защиту бессмертия, понимаемого в дуалистическом духе, см.: H.D. Lewis, The Self and Immortality.

с. 70. Гораздо более полное изложение верований, связанных с перевоплощением, см. в различных статьях «Энциклопедии религии» (Encyclopedia of Religion) под редакцией Мирчи Элиаде.

с. 73. Мой рассказ «Сила молитвы» переделан из истории Юма в его скептическом рассуждении о чудесах в «Исследовании о человеческом познании». Это великая книга, и изданий её множество.

с. 75. Другие рассказы о так называемых околосмертных переживаниях см.: Mark Fox, Religion, Spirituality and the Near-Death Experience.

с. 75. «Вожатым моим был светлый ликом муж в сияющем одеянии…»: Беда Достопочтенный, «Церковная история народа англов».

## Дополнительная литература

Собрания взглядов на жизнь после смерти см.: Stephen T. Davis (ed.), Death and Afterlife; Paul Edwards (ed.), Immortality.

Веб-сайт www.wabashcenter.wabash.edu/Internet/front/htm даёт доступ к богатству сведений как о религии вообще, так и о философии религии в частности, включая, разумеется, обсуждаемые здесь темы. Это, однако, огромный сайт, и в нём бывает трудно ориентироваться.

## 6. Принять ли мне эликсир жизни?

с. 78. «Истинные рабы Аллаха…». Это, разумеется, Коран. Но я нашёл этот отрывок в «Оксфордской книге смерти» (The Oxford Book of Death). Там сотни полезных текстов, в том числе два следующих.

с. 78. «В девяносто лет у них выпадают зубы и волосы…» — из «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта.

с. 79. «Быть тридцатипятилетним два года…» — из книги Майкла Фрейна «Построения» (Constructions).

с. 81. «Не должна жизнь длиться так долго!» — из либретто оперы «Средство Макропулоса». Оригинал Яначека по пьесе Чапека; данный перевод — фирмы Decca, исполнение под управлением Маккерраса, 1979.

с. 81. Статья Уильямса «Дело Макропулос: размышления о скуке бессмертия» (‘The Makropulos case: reflections on the tedium of immortality’) включена в сборник Фишера, упомянутый в главе 3. Она есть и в собственном сборнике Уильямса «Проблемы „я“» (Problems of the Self), где также есть ряд статей, относящихся к главе 7.

с. 81. Томас Нагель — среди тех, кто считает, что Уильямс здесь ошибается. См. его статью «Смерть» (‘Death’) либо в сборнике Фишера, либо в его собственной книге «Смертельные вопросы» (Mortal Questions).

с. 85. «…скуки, связанной с тем, что…»: Уильямс, «Дело Макропулос».

с. 90. Среди недавних художественных изображений скуки бессмертия — превосходно комичный финал «Истории мира в 10½ главах» Джулиана Барнса и гораздо более мрачное «Тело» (The Body) Ханифа Курейши.

## 7. Кто есть кто?

с. 93. Английский философ Джон Локк выдвинул взгляд от ума в XVII веке, предположив, что если бы душа принца каким-то образом вошла в тело сапожника, то этот скромный сапожник был бы принцем. Позднее взгляд от ума отстаивал американский философ Сидни Шумейкер. См. его книгу Self-Knowledge and Self-Identity.

с. 94. «Метаморфозы» Овидия полны фантастических историй о превращениях. Интересно, что лишь в немногих случаях они рассматриваются как угроза

идентичности. Тед Хьюз перевёл или пересказал многие из них в книге «Рассказы из Овидия» (Tales from Ovid).

с. 94. Я говорю, что «кажется довольно ясным», что при телепортации тело полностью исчезает, а затем образуется новое. Но действительно ли это так? Или перемещаются атомы либо частицы? Этот вопрос, разумеется, можно подробно изучить на сайтах поклонников. Для начала см.: http://www.startrek.com/startrek/view/library/technology/article/70285.html

с. 95. Подробнее о «защите Твинки» и её превращении в городскую легенду см.: http://www.danfingerman.com/dtm/archives/000073.html

с. 96. У взгляда от тела тоже есть известные сторонники, пожалуй, прежде всего Бернард Уильямс, который, по-видимому, делает упор на тело более или менее в целом, и Томас Нагель, который сосредоточивается на значении мозга.

с. 97. Мои истории «По ту сторону пытки» и «Боль или выгода» (с. 98) переделаны из некоторых мысленных экспериментов Уильямса в статье «„Я“ и будущее» (‘The self and the future’). Она, вместе с другими очерками о личной идентичности, входит в его сборник «Проблемы „я“» (Problems of the Self).

с. 101. Эта проблема корабля — часто в форме корабля Тесея — вечная тема философских дискуссий об идентичности.

с. 104. Концепцию ближайшего продолжателя разработал и выдвинул Роберт Нозик в своём громадном труде «Философские объяснения» (Philosophical Explanations).

## 7. Кто есть кто? — Дополнительная литература

Многие обсуждения и взгляды в этой главе восходят к моему чтению части III книги Дерека Парфита «Причины и личности» (Reasons and Persons). Более того, почти всё, что написано на эту тему за последние 20 лет, принимает Парфита во внимание — и не может не принимать. Не будь его книги, эта книга не была бы написана. Другие книги на эту тему: Harold Noonan, Personal Identity; Peter Unger, Identity, Consciousness and Value; а также сборники под редакцией Амели Оксенберг Рорти «Идентичность личностей» (The Identities of Persons) и Джона Перри «Личная идентичность» (Personal Identity).

Об идентичности в более общем смысле см. особенно весьма влиятельную и весьма увлекательную книгу Сола Крипке «Именование и необходимость» (Naming and Necessity). Это современная классика.

## 8. Неужели всё бессмысленно?

с. 111. «Мы начинаем в безумии плотского вожделения…»: Артур Шопенгауэр, «Эссе и афоризмы» (Essays and Aphorisms). Этот сборник включает многие из наиболее притягательных сочинений Шопенгауэра о смысле и ценности жизни.

с. 119. Подробнее о Ларри Флинте см., например, фильм 1996 года «Народ против Ларри Флинта».

с. 122. «Смысл возникает, когда субъективное влечение…» — из статьи Сьюзен Вулф «Счастье и смысл: два аспекта доброй жизни» (‘Happiness and meaning: two aspects of the good life’).

с. 124. Нагель обсуждает это в статье «Абсурд» (‘The absurd’) в сборнике «Смертельные вопросы» (Mortal Questions). Его центральная идея — идея непримиримого столкновения перспектив — получает дальнейшее развитие в книге «Взгляд из ниоткуда» (The View from Nowhere). Последняя глава этой книги особенно важна для идей жизни, смерти и смысла.

с. 125. «Миф о Сизифе» Камю вызвал бóльшую часть недавнего интереса к вопросу о смысле, но «Тошнота» Жан-Поля Сартра, пьесы Сэмюэла Беккета, особенно «В ожидании Годо», «Счастливые дни» и «Конец игры», — столь же влиятельные экзистенциалистские или квазиэкзистенциалистские тексты. За всеми ними для многих стоят «Записки из подполья» Достоевского.

с. 125. «Опустите занавес…» — цит. по «Оксфордской книге смерти» (The Oxford Book of Death).

с. 127. См., например, «Три сестры» Чехова, и особенно разговор Маши и Тузенбаха во втором действии.

с. 127. «— Я знаю также, — сказал Кандид…»: Вольтер, «Кандид».

## Дополнительная литература

Две книги Освальда Ханфлинга — «Поиски смысла» (The Quest for Meaning) и составленная им хрестоматия «Жизнь и смысл» (Life and Meaning: A Reader) — вместе включают ряд классических и современных сочинений на эту тему (в том числе Толстого, Шопенгауэра и Нагеля) и комментарий к ним. Более новые сборники: E.D. Klemke (ed.), The Meaning of Life; Joseph Runzo, Nancy Martin (eds), The Meaning of Life in the World Religions. Книга Джона Коттингема «О смысле жизни» (On the Meaning of Life) — короткая и изящно написанная; к роли религии в придании жизни смысла она относится благосклоннее, чем я здесь. Очень полезный обзор ряда взглядов см.: Thaddeus Metz, ‘Recent work on the meaning of life’. А из совсем недавних работ посмотрите книгу Джулиана Баггини «В чём смысл всего этого? Философия и смысл жизни» (What’s It All About? Philosophy and the Meaning of Life).

«Автостопом по галактике» Дугласа Адамса знаменит своим числовым толкованием смысла жизни. Но я его никогда не читал. «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли — классика XX века об угрозах смыслу со стороны модернизации и прогресса. Эту книгу я читал.

Наконец, на сайте www.phil.onemonkey.org собраны ответы ряда работающих в Британии философов на анкету о смысле жизни. Это интересное чтение.

## 9. Должно ли быть больше людей, и лучших?

с. 131. К философам, которые считают, что при прочих равных больше — лучше, относятся Джонатан Гловер, Джон Лесли и Стюарт Рейчелс. Статья последнего «Хорошо ли создавать счастливых людей?» (‘Is it good to make happy people?’) полна интересных доводов, некоторые из которых фигурируют в моей главе.

с. 133. Об акценте на хорошем начале жизни см.: Julian Savulescu, ‘Why we should select the best children’ («Почему нам следует отбирать лучших детей»).

с. 134. См. здесь особенно начало части IV книги «Причины и личности».

с. 136. В моей статье «Идентичность и инвалидность» (‘Identity and disability’) отстаивается мысль, что при существенно иной среде родится другой человек.

с. 137. Этот случай с юной девушкой близко следует примеру, приведённому Парфитом в «Причинах и личностях».

с. 139. Я уже пытался выдвинуть этот довод прежде, в статье «Больше жизней, лучшие жизни» (‘More lives, better lives’).

с. 143. Подробнее обо всём этом см. работы Ганса Айзенка (например, его автобиографию Rebel with a Cause или Intelligence: The Battle for the Mind), Артура Дженсена (Environment, Heredity and Intelligence) и, пожалуй, наиболее печально известную книгу Херрнстайна и Мюррея «Колоколообразная кривая» (The Bell Curve).

с. 143. «Наука о добром рождении» предлагается как определение евгеники в «Американском журнале евгеники» (The American Journal of Eugenics, 1906). Я нашёл его на сайте www.emmerich1.com/EUGENICS.htm

с. 143. Пьеса Шоу «Человек и сверхчеловек» исследует ряд идей, связанных с будущими обществами. См. также некоторые работы его почти современника Г. Уэллса, в том числе War and the Future и The Conquest of Time.

## Дополнительная литература

Как и в главе 7, многое здесь восходит к доводам Дерека Парфита — на этот раз в части IV «Причин и личностей». Вся эта часть — захватывающее, пусть местами и запутанное, обсуждение идей, связанных с темами этой главы.

Два сборника, посвящённых вопросам о будущих поколениях: Ernest Partridge (ed.), Responsibilities to Future Generations; Peter Laslett, James Fishkin (eds), Justice Between Age Groups and Generations.

Вопросы качества жизни обсуждаются во многих книгах по медицинской этике. См., например: Jonathan Glover, Causing Death and Saving Lives; John Harris, Wonderwoman and Superman; и, хотя это труднее, ряд очерков в книге John Broome, Ethics out of Economics.

## 10. Важна ли реальность?

с. 146. Существует ли Бог? Доводы за и против см., например: Джон Маки, «Чудо теизма» (The Miracle of Theism); Ричард Суинберн, «Есть ли Бог?» (Is There a God?); J.J.C. Smart, J.J. Haldane, Atheism and Theism.

с. 149. Хорошие обсуждения ценности подделок, фальсификаций, копий в искусстве и природе можно найти в книгах Robert Elliott, Faking Nature и Denis Dutton, The Forger's Art: Forgery and the Philosophy of Art.

с. 150. Мысль о том, что даже нераскрытая измена есть зло и вред для того, кого предали, фигурирует в очерке Нагеля «Смерть» ('Death') в сборнике «Смертельные вопросы». Обсуждение там недлинное, но оказалось весьма влиятельным.

с. 152. Машину опыта придумал Роберт Нозик в своей спорной и вызывающей книге «Анархия, государство и утопия» (Anarchy, State and Utopia). Она вновь появляется, в несколько иной форме, в его более поздней книге «Исследованная жизнь» (The Examined Life).

с. 152. «Просто комок» (a mere blob) — собственное выражение Нозика.

с. 157. Мой рассказ «Промывка мозгов» восходит к фильму 1962 года — политическому триллеру — «Маньчжурский кандидат».

## Дополнительная литература

Как я уже сказал, я не большой поклонник «Матрицы». А вот Мэтт Лоуренс — поклонник. И в книге «Как заноза в мозгу: философия трилогии „Матрица“» (Like a Splinter in Your Mind: The Philosophy behind the Matrix Trilogy, Blackwell, 2004) он исследует целую кучу хороших вопросов, в том числе, конечно, многие из обсуждаемых здесь.

# Избранная библиография

В перечисленные здесь работы входит большинство книг и статей, упомянутых в предыдущих главах, и многие из тех, что впервые названы в примечаниях и рекомендациях для дальнейшего чтения. Но фильмы, музыкальные произведения и веб-сайты сюда не включены. Во многих случаях существуют или существовали разные издания. Я не всегда старался указать первое или последнее, а указывал широко доступное.

*[Библиографические описания приводятся в оригинальном виде; в квадратных скобках добавлены сведения о русских переводах, где они известны переводчику.]*


Adams, Douglas (1979) The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. London: Pan Books. [Рус. пер.: Адамс Д. Автостопом по галактике.]

Alvarez, Al (1974) The Savage God: A Study of Suicide. Harmondsworth: Penguin.

Ariès, Philippe (1981) The Hour of Our Death, trans. H. Weaver. New York: Alfred A. Knopf. [Рус. пер.: Арьес Ф. Человек перед лицом смерти.]

Badham, P. and Badham, L. (1987) Death and Immortality in the Religions of the World. Oxford: Pergamon.

Baggini, Julian (2004) What's It All About? Philosophy and the Meaning of Life. Cambridge: Granta.

Barnes, Jonathan (1987) Early Greek Philosophy. Harmondsworth: Penguin.

Barnes, Julian (1990) A History of the World in 10½ Chapters. London: Pan-Picador. [Рус. пер.: Барнс Дж. История мира в 10½ главах.]

Bauby, Jean-Dominique (1997) The Diving Bell and the Butterfly. New York: Random House. [Рус. пер.: Боби Ж.-Д. Скафандр и бабочка.]

Beckett, Samuel (1990) The Complete Dramatic Works. London: Faber.

Bede (1935) The Ecclesiastical History of the English Nation. London: Dent. [Рус. пер.: Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов.]

Belshaw, Christopher (2000) 'Identity and disability', Applied Philosophy 17.

Belshaw, Christopher (2003) 'More lives, better lives', Ethical Theory and Moral Practice 6.

Blackburn, Simon (1999) Think. Oxford: Oxford University Press.

Boswell, James (1931) Private Papers of James Boswell, eds Geoffrey Scott and Frederick A. Pottle, vol. xii. New Haven, CT: Yale University Press.

Broome, John (1999) Ethics out of Economics. Cambridge: Cambridge University Press.

Camus, Albert (2000) The Myth of Sisyphus, trans. J. O'Brien. Harmondsworth: Penguin. [Рус. пер.: Камю А. Миф о Сизифе.]

Cottingham, John (2003) On the Meaning of Life. London: Routledge.

Coughlan, Michael J. (1990) The Vatican, the Law and the Human Embryo. Iowa City: University of Iowa Press.

Cupitt, Don (1984) The Sea of Faith. London: BBC.

Davis, Stephen T. (ed.) (1989) Death and Afterlife. London: Macmillan.

De Botton, Alain (2000) The Consolations of Philosophy. London: Hamish Hamilton. [Рус. пер.: де Боттон А. Утешение философией.]

DeGrazia, David (1998) Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status. Cambridge: Cambridge University Press.

Descartes, René (1986) Meditations on First Philosophy, trans. John Cottingham. Cambridge: Cambridge University Press. [Рус. пер.: Декарт Р. Размышления о первой философии.]

Dollimore, Jonathan (1998) Death, Desire and Loss in Western Culture. London: Routledge.

Dostoevsky, Fyodor (2000) Notes from Underground, trans. Michael R. Katz. New York: Norton. [Оригинал: Достоевский Ф. М. Записки из подполья.]

Dutton, Denis (1983) The Forger's Art: Forgery and the Philosophy of Art. Berkeley, CA: University of California Press.

Dworkin, Ronald (1993) Life's Dominion: An Argument about Abortion and Euthanasia. London: HarperCollins.

Edwards, Paul (ed.) (1992) Immortality. New York: Macmillan.

Eliade, Mircea (ed.) (1987) The Encyclopedia of Religion. London: Macmillan.

Elliott, Robert (1997) Faking Nature. London: Routledge.

Enright, D.J. (ed.) (1987) The Oxford Book of Death. Oxford: Oxford University Press.

Epicurus (1988) 'Letter to Menoeceus'. Многие сохранившиеся сочинения Эпикура см. в: Hellenistic Writings: Introductory Readings, trans. Brad Inwood and L.P. Gerson. Indianapolis: Hackett. [Рус. пер.: Эпикур. Письмо к Менекею.]

Feinberg, Joel (1984) Harm to Others. Oxford: Oxford University Press.

Feldman, Fred (1992) Confrontations with the Reaper. Oxford: Oxford University Press.

Fischer, John Martin (ed.) (1993) The Metaphysics of Death. Stanford, CA: Stanford University Press.

French, Peter and Wettstein, Howard (eds) (2000) Life and Death: Metaphysics and Ethics. Oxford: Blackwell.

Glover, Jonathan (1977) Causing Death and Saving Lives. Harmondsworth: Penguin.

Hanfling, Oswald (1987a) The Quest for Meaning. Oxford: Blackwell.

Hanfling, Oswald (ed.) (1987b) Life and Meaning: A Reader. Oxford: Blackwell.

Harris, John (1992) Wonderwoman and Superman. Oxford: Oxford University Press.

Hayman, Ronald (1982) Nietzsche: A Critical Life. Harmondsworth: Penguin.

Hughes, Ted (1997) Tales from Ovid. London: Faber and Faber.

Hume, David (1975) Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of Morals, ed. L.A. Selby-Bigge, revised P.H. Nidditch. Oxford: Oxford University Press. [Рус. пер.: Юм Д. Исследование о человеческом познании; Исследование о принципах морали.]

Hume, David (1990) Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Martin Bell. Harmondsworth: Penguin. [Рус. пер.: Юм Д. Диалоги о естественной религии.]

Hursthouse, Rosalind (1987) Beginning Lives. Oxford: Blackwell.

Huxley, Aldous (1994) Brave New World. London: HarperCollins. [Рус. пер.: Хаксли О. О дивный новый мир.]

Kafka, Franz (1972) Metamorphosis and Other Stories, trans. Willa and Edwin Muir. Harmondsworth: Penguin. [Рус. пер.: Кафка Ф. Превращение.]

Kamm, F.M. (1992) Morality, Mortality. Oxford: Oxford University Press.

Kant, Immanuel (1983) Perpetual Peace and Other Essays. Indianapolis: Hackett. [Рус. пер.: Кант И. К вечному миру; Ответ на вопрос: что такое Просвещение?]

Klemke, E.D. (ed.) (2000) The Meaning of Life. Oxford: Oxford University Press.

Kripke, Saul (1980) Naming and Necessity. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kureishi, Hanif (2002) The Body. London: Faber.

Larkin, Philip (1988) Collected Poems. London: Faber and Faber.

Laslett, Peter and Fishkin, James (eds) (1992) Justice Between Age Groups and Generations. New Haven, CT: Yale University Press.

Lawrence, Matt (2004) Like a Splinter in Your Mind: The Philosophy behind the Matrix Trilogy. Oxford: Blackwell.

Lewis, Hywel D. (1993) The Self and Immortality. London: Macmillan.

Locke, John (1975) An Essay Concerning Human Understanding, ed. Peter H. Nidditch. Oxford: Oxford University Press. [Рус. пер.: Локк Дж. Опыт о человеческом разумении.]

Lucretius (1997) De Rerum Natura, trans. Sir Ronald Melville. Oxford: Oxford University Press. [Рус. пер.: Лукреций. О природе вещей.]

Mackie, John (1982) The Miracle of Theism. Oxford: Clarendon Press.

McMahan, Jeff (2002) The Ethics of Killing. Oxford: Oxford University Press.

Metz, Thaddeus (2002) ‘Recent work on the meaning of life’, Ethics 112.

Monk, Ray (1990) Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius. Harmondsworth: Penguin.

Montaigne, Michel de (1965) Complete Essays, trans. Donald M. Frame. Stanford, CA: Stanford University Press. [Рус. пер.: Монтень М. Опыты.]

Nagel, Thomas (1979) Mortal Questions. Cambridge: Cambridge University Press.

Nagel, Thomas (1986) The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press.

Nagel, Thomas (1987) What Does It All Mean? Oxford: Oxford University Press. [Рус. пер.: Нагель Т. Что всё это значит?]

Noonan, Harold (1991) Personal Identity. London: Routledge.

Nozick, Robert (1974) Anarchy, State and Utopia. Oxford: Blackwell. [Рус. пер.: Нозик Р. Анархия, государство и утопия.]

Nozick, Robert (1981) Philosophical Explanations. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Parfit, Derek (1984) Reasons and Persons. Oxford: Clarendon Press.

Partridge, Ernest (ed.) (1981) Responsibilities to Future Generations. Buffalo, NY: Prometheus.

Perry, John (1975) Personal Identity. Berkeley, CA: University of California Press.

Plato (1981) Five Dialogues, trans. G.M.A. Grube. Indianapolis: Hackett. [Рус. пер.: Платон. Евтифрон; Апология Сократа; Критон; Менон; Федон.]

Rachels, Stuart (1998) 'Is it good to make happy people?', Bioethics 12, 2.

Robinson, John (1963) Honest to God. London: SCM.

Rorty, Amélie Oksenberg (ed.) (1976) The Identities of Persons. Berkeley, CA: University of California Press.

Runzo, Joseph and Martin, Nancy (eds) (2000) The Meaning of Life in the World Religions. Oxford: Oneworld Publications.

Sartre, Jean-Paul (1965) Nausea, trans. Robert Baldick. Harmondsworth: Penguin. [Рус. пер.: Сартр Ж.-П. Тошнота.]

Savulescu, Julian (2001) 'Why we should select the best children', Bioethics 15, 5/6.

Schopenhauer, Arthur (1970) Essays and Aphorisms, trans. R.J. Hollingdale. Harmondsworth: Penguin.

Schweitzer, Albert (1961) Civilization and Ethics. London: Allen and Unwin. [Рус. пер.: Швейцер А. Культура и этика.]

Shaw, George Bernard (1974) Man and Superman. London: Constable. [Рус. пер.: Шоу Б. Человек и сверхчеловек.]

Shoemaker, Sydney (1963) Self-Knowledge and Self-Identity. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Singer, Peter (1993) Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.

Singer, Peter (1994) Rethinking Life and Death. Oxford: Oxford University Press.

Smart, J.J.C. and Haldane, J.J. (1996) Atheism and Theism. Oxford: Blackwell.

Smart, J.J.C. and Williams, Bernard (1973) Utilitarianism, For and Against. Cambridge: Cambridge University Press.

Swift, Jonathan (1986) Gulliver's Travels. Oxford: Oxford University Press. [Рус. пер.: Свифт Дж. Путешествия Гулливера.]

Swinburne, Richard (1996) Is There a God? Oxford: Oxford University Press. [Рус. пер.: Суинберн Р. Есть ли Бог?]

Unger, Peter (1990) Identity, Consciousness and Value. Oxford: Oxford University Press.

Voltaire (1974) Candide, trans. John Butt. Harmondsworth: Penguin. [Рус. пер.: Вольтер. Кандид, или Оптимизм.]

Warburton, Nigel (1992) Philosophy: The Basics. London: Routledge.

Williams, Bernard (1973) Problems of the Self. Cambridge: Cambridge University Press.

Wittgenstein, Ludwig (1974) Tractatus Logico-Philosophicus, trans. D.F. Pears and B.F. McGuinness. London: Routledge and Kegan Paul. [Рус. пер.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат.]

Wolf, Susan (1997) 'Happiness and meaning: two aspects of the good life', Social Philosophy and Policy 14, 1.

Wollstonecraft, Mary (1788) Original Stories from Real Life. London: J. Johnson.

*[Конец книги — с. 172 оригинала.]*